СКАЗКИ АЛТАЯ

-578355-

алтайские сказки

ГУК Литературно-издательский Дом
«Алтын-Туу», 2009 г.

82. 3 (2 Рос=Алт)-442.06
А 521

Алтайские сказки. — Горно-Алтайск: ГУК
А 521 Литературно-издательский Дом «Алтын-
Туу», 2009. — 279 с.

М 578355

Национальная
библиотека
Республики Алтай
им. М.В. Чевалкова

Обяз чный
экземпляр

ISBN 978-5-9209-0130-9

27

©ГУК Литературно-издательский Дом
«Алтын-Туу», 2009 г.

В СОЗВУЧИИ С ТРАДИЦИЕЙ

Как и многие малые народы, алтайцы, живущие на юге Западной Сибири в горах междуречья Бии и Катуни, имели богатую традицию устной поэзии. Верования, мифы и легенды, исторические сказания передавались от поколения к поколению, из уст в уста. Исполнение и слушание произведений народного творчества не считались лишь развлечением: это был обряд.

Еще в тридцатые годы XX века многие сказители, кого посчастливилось услышать Анне Гарф и Павлу Кучияку, отказывались петь богатырские сказания днем. Как и в далекую старину, древние предания сказывались ночами у костра. Некоторые исполнители не позволяли записывать услышанное. Следовало, как и встарь, запоминать со слуха.

Многие современные исполнитсли относятся к произведениям устного народного творчества без той наивной веры, благодаря которой сказители прежних времен не позволяли себе сколько-нибудь сознательно изменить не только суть, но и детали повествования. Тексты сегодняшних рассказчиков, подобно старинным картинам, зачастую нуждаются в работе исследователя, близкой к искусству реставратора. Здесь мало труда и таланта. Нужны глубокие знания быта, окружающей среды, принципов поэтики фольклора данного народа.

В этом смысле сборник алтайских сказок, записанных и пересказанных по-русски Анной Гарф и Павлом Кучияком, бесспорно, удачен. Им удалось сохранить обаяние живой речи, интонацию и все подлинные

особенности национального устного творчества. Читателя, особенно алтайского, поражает прелесть достоверности местного колорита.

Ученица замечательной исследовательницы русского языка и литературы Марии Александровны Рыбниковой и профессора Юрия Матвеевича Соколова писательница Анна Гарф, еще со школьных лет увлеченная сказками, и поэт Павел Кучияк, внук знаменитых на Алтае сказителя Шонкора-Сокола и сказительницы бабушки Баргаа, объехали верхом, прошли пешком весь Горный Алтай. Поиски неутомимых охотников за сказками, их жадная любознательность, терпение были вознаграждены. Им удалось записать тексты, дотоле неизвестные («Сартакпай», «Алып-Манаш», «Юскузек и Алтын-чач», «Дети зверя Мааны», «Страшная сказка» и т.д.). Им посчастливилось «открыть» замечательных сказителей, прежде неведомых никому, кроме узкого круга друзей и родичей (Улагашев, Кыргызаков, Сабашкин, Кокпоева и другие).

Устное народное творчество алтайцев записывалось учеными еще в XIX веке. Особо следует отметить работы и публикации В. Вербицкого, В. Радлова, Г. Потанина. Однако научная запись, при которой сохраняется фонетика языка, диалект и особенности речи самого рассказчика, где порою даже обязательны публикации незавершенных по сюжету фрагментов, рассчитана на узкий круг специалистов.

Литературная запись отличается от научной своими целями. Задача художника – донести общее звучание, сказовую манеру, поэтику, присущую устному творчеству данного народа. Такова запись и публикации алтайского эпоса «Когутей» (сказитель М. Юткanаков,

перевод Г. Токмашова, редакция В. Зазубрина, под общей редакцией Ю. М. Соколова, «Academia», М.–Л., 1935). Таковы алтайские сказки в записи и в пересказе по-русски Анны Гарф и Павла Кучияка.

Работа авторов основана на богатых традициях алтайского фольклора. Национальный колорит, достоверность содержания и формы, избранной авторами, делают их пересказы предельно близкими и подлинным произведениям устного творчества народов Алтая.

Сказки на Алтае различаются не только по форме и содержанию, но и по характеру исполнения.

Прозаические сказки – *чёрчёк* – исполняются без сопровождения музыкального инструмента, хотя в текст включаются и песни, шутки, прибаутки, поговорки в стихах. Исполнители прозаических сказок зовутся *чёрчёкчи*.

Богатырские сказания поются стихами. Исполняются эти стихи низким «органным» голосом в сопровождении щипкового двухструнного музыкального инструмента – топшуура. Вторя низкой горловой мелодии, сказитель одновременно производит губами высокие звуки. Это двухголосое пение, сочетающееся с мелодическими фразами топшуура, свойственное алтайцам, называется – *кай*. Певцы, умеющие «кайларить», зовутся *кайчи*.

Сам Павел Васильевич Кучияк был выдающимся кайчи и также замечательным актером – чёрчёкчи.

Обычно сказание о богатырях включает по нескольку тысяч стихов и исполняется «каем» по нескольку ночей подряд.

По мотивам лично слышанных и дословно запи-

санных богатырских сказаний Анна Гарф создала несколько сокращенные прозаические варианты. В ее пересказах широко использованы специфические алтайские тропы, сохранены пышность и метафоричность сравнений, сочетание гиперболы и литоты, элементы восточной поэзии и прочих излюбленных приемов алтайского устного народного творчества. Все это придает ее пересказам ту поэтическую конкретность, без чего не может существовать истинно народное произведение.

И не случайно уже первые публикации и первые издания этих сказок («Алтайские сказки», ж. «Сибирские огни», 1937; «Сказки Алтая», Новосибирск, 1938; «Алтайские сказки», М., Детгиз,1939) были сразу замечены и получили высокую оценку. Они вошли в сборники сказок народов Сибири, в хрестоматии по алтайской литературе, в учебники для алтайских школ. С русского языка алтайские сказки были переведены на языки народов СССР, публиковались за рубежом.

Сборник «Алтайские сказки», предлагаемый вниманию читателей, более содержателен в жанровом отношении и обширнее по количеству материала, чем предыдущие издания. Здесь представлены сказки о животных, бытовые и волшебные сказки, мифы, легенды и богатырские сказания. Сюжеты многих публикуемых впервые вещей чаще всего древнего происхождения. Большая часть работы по этому сборнику сделана Анной Гарф после кончины Кучияка в 1943 году.

С. Суразаков, Г. Кондаков

МОЙ АЛТАЙ

Далеко-далеко на границе Монголии, рядом с землей Тану-Тува, на лесистых холмах лежит наш Алтайский край.

Алтай многолик. Если мы побываем на северо-востоке, то увидим покрытые хвойными лесами невысокие, пологие горы. Тут растут сине-зеленые, с шелковистой хвоей кедры и темно-зеленые пихты. Сочная трава здесь так высока, что закрывает с головой и коня и всадника.

Но пойдемте на юго-запад и на юг Алтая. Здесь встретим совсем иную природу. Взглядом не охватишь широко раскинувшиеся долины, в лесах тесно стоят лиственницы с голыми темно-серыми ветками зимой, а летом опушенные нежно-зелеными, частыми, похожими на хвою листками. Трава здесь так мелка, что не спрячет глаз лошади, когда та опустит голову к самым корням, чтобы полизать солонцеватую землю. На этой богатой солями земле трава растет хотя и мелкая, но питательная, полезная скоту. Не скупясь, насыщает земля своими солями траву, и скот хорошо нагуливает на здешних пастбищах мясо и жир.

Когда попадаем мы с вами в верховья реки Катуни и реки Чолушман, взор наш остановят остроконечные суровые скалы. Здесь крылатой птице нелегко найти место для гнезда, здесь зверям парнокопытным и зверям когтистым удобной тропы не найти.

А между этими скалами, то ударяясь и разбиваясь об их острые ребра, то перепрыгивая с камня на камень, летят сумасшедшие реки Алтая...

Но пойдемте поглядим на наши пологие горы, на

круглые долины ранней весной. Посмотрите, как Алтай, шесть месяцев спавший под белым одеялом, теперь сжал, смял его, вот-вот совсем сбросит. У алтайцев есть поверье, что белка-летяга кричит к морозу, к непогоде, к затяжной поздней весне. А заяц, говорят, кричит к талому снегу, к теплу, к густой траве. От солнечных весенних лучей, от громкой заячьей песни снег тает и каждая ложбинка, речка, овраг открывает дорогу необузданной весенней воде. В эту пору вы услышите неустанную песню бесчисленных ручьев и речек, повторенную высокими скалами и пробуждающимися частыми лесами.

Еще не смолкнет шум весенних ручейков, как вдруг окаймляются берега Катуни красно-розовыми цветами кустов *маральника.* Мы не знаем, с чем сравнить эту красоту. Земля еще мокрая, рыжая, вершины гор покрыты снегом, а маральник раскинул по камням и скалам свое алое пламя, разбросал первую весеннюю радость по всему горному Алтаю.

Песни птиц звучат все громче, все смелее. Это весна вошла в полную силу.

Вы еще не успеете вдосталь налюбоваться цветением маральника, как в долинах, на лесных полянах и на опушках зажигают свои розовые лепестки улыбающиеся теплу и свету цветы *кандыка* и вспыхивают нежно-красно-шелковые цветки-огоньки – *кюнкельды.* Огоньки все время поворачиваются к солнцу, открывая ему свои сердца. Кудрявые березы распустили зеленые косы и тихо шепчутся. А птицы поют теперь тише. На кедрах блестят прозрачной слезой синие шишки. Это пришло на Алтай лето.

К середине сентября Алтай становится суровее. Кое-

где листья желтеют, краснеют. С каждым днем смуглеет Алтай. Но лазури больше, чем летом. Это осенняя краска. Все ярче золотятся березы, словно какой-то богатырь из золотой *чочойки* брызнул золотой воды на весь Алтай. Соловьи и жаворонки давно не поют. Кукушки замолкли, потому что уже сколосился давно ячмень и ячменные иголки застряли у кукушек в горле.

Но старики говорят, что золотая осень еще не осень. Они чистят ружья, ожидая бурой осенней поры, когда в богатых ветвях кедра будет много розово-серых белок, когда на каменные россыпи выбегут светло-красные лисицы, а по тайге осторожно пройдет черный соболь.

Сейчас, колхозной осенью, алтайцы сказок не поют, не рассказывают. Народ весь на уборке. Колхозники с весны трудились, и оставить урожай под снегом никак нельзя.

Небо спешит, торопится побелить вьюгами вершины алтайских гор, но люди в долинах хотят встретить зиму с мешками, полными зерна, с тяжелыми связками копченого сыра-курута.

В ларях уже темнеют кедровые орехи, в хлевах стоят стельные коровы, у огня сидят дети и учат свои уроки.

Пройдет месяц-другой, и вновь натянет на себя Алтай белое пуховое одеяло. Утихают песни рек, кое-где только глухо ворчит вода под ледяным стеклом.

Медведи, барсуки, сурки уходят в берлоги, в норы — на зимнюю спячку ложатся. И даже маленький, всегда юркий бурундук зимой из своего жилища почти не выходит, а живет у своих закромов, которые за

лето и осень старательно наполнил отборными орехами, зерном. Алтай погружается в зимний сон. Но это только так кажется. Посмотрите на снег, сколько всяких следов! Охотник должен хорошо в этих следах разбираться, знать, куда какой зверь пошел, какого зверя приспела пора погонять, за каким поохотиться.

Вот на каком прекрасном Алтае жили наши племена. Но до Великой Октябрьской революции жизнь людей среди этой природы была тяжкой, горькой. И свои богачи, и князья *зайсаны*, колдуны-камы, и царские чиновники, и приезжие купцы — кто только не обижал темных безграмотных скотоводов и охотников! Жили алтайцы в берестяных аилах, пол земляной, детишки нагие, никогда не знавшие, что такое мыло, белье... Вместо постели старая овчина, вместо рубахи — у стариков зимой и летом овчинный тулуп, у детишек зачастую и того не было. Казалось, сама природа нарочно угнетает бедняка — весною дождь, зимой мороз...

О жизни тогдашней можно судить по печальным алтайским напевам, по словам старых песен:

«Я ношу старую козью шубу, подол без опушки. Бедной матерью рожденный, света-радости не вижу. Шубу из старой лошадиной шкуры, без воротника, без подпушки я донашиваю. Отцом бедняком сотворенный, счастья-смеха я не знаю...»

Но мечты бедняка далеко вперед летели. Рождались и в берестяной юрте великие люди, мастера петь и слагать стихи о великих подвигах своего народа. И в этих песнях забитый пастух становился великим богатырем, а могучий хан оказывался беспомощным и глупым.

Долгими осенними или зимними ночами пастухи, охотники соберутся, бывало, под мохнатым кедром у яркого костра. После чашки горячего чая выкурит один из них трубку листового табака и ударит указательным пальцем правой руки по двум струнам топшуура. Звук струны, свитой из конского волоса, так нежен, что кажется, будто снег вокруг костра от этого струнного звука тает. И вот начинается горловая песня — кай. Эта песня еще только тихо-тихо течет. Слушателям думается, что где-то далеко-далеко шершень летит или, может быть, это майский жук. Этот неведомый тайный звук становится все ближе и ближе. И вдруг все понимают — это поет тот, кто взял в руки топшуур. Все ожидают, когда же начнется сказание. Просят, умоляют певца воспеть подвиги богатырей. Кайчи протяжно кашляет, и внезапно после паузы польются слова, будто через плотину прозрачная горная вода потечет.

О чем пели кайчи?

До наших дней сохранились старинные алтайские сказания, до сих пор помнят эти сказания мастера устного народного творчества и поют их. Это легенды о сироте, который находит друзей, побеждает врагов. Обиженные жестоко мстят за свою обиду. Оборванные, на худых лошаденках бедняки побеждают какого-нибудь известного своей силой и богатством каана. Но, конечно, сказания не ограничиваются только такими сюжетами. Воспевали народные певцы и любовь верную, преданную, и любимых девушек, и красоту природы.

Пастухи и охотники, вынужденные кочевать по лесам, по горам, постоянно наблюдали природу, как встает из земли трава весной, они всех раньше слышали февральскую песню синицы: «дьил-кель, дьил-кель»— «весна, приди, весна, приди!» Летом им не давал спать коростель, выкрикивая хриплым голосом свое «таарт-тарт, таарт-тарт» — «дерг, дерг, дерг!» Утрами и вечерами они слышали крики журавлей у болота.

Пастухи и охотники наблюдали не только повадки птиц и зверей, они смотрели и на звезды, пытались дать свое толкование движениям созвездий. Все свои впечатления они передавали то стихами кая, то прозаической сказкой чёрчёк.

Так, думается мне, и создавалось устное народное творчество алтайцев. Создателями легенд, сказаний, сказок, песен, мне кажется, были именно пастухи и охотники, рабы.

Эти подневольные люди могли говорить в полный голос только в тайге. Созданные ими песни слушали горы, леса и камни. Слушали стада, пасущиеся вокруг, слушали птицы и звери. Постепенно голос певца креп, мужал, пальцы все увереннее перебирали струны топшуура. Слава о певцах текла, как река течет.

И вот пастуха зовут в байский аил, сажают на белую кошму. Перед ним алтайский копченый сыр — *курут*, чашка горячего чая с *толканом* — мукой из поджаренного ячменя, с маслом и солью. И еще перед ним деревянный поднос с жирной, только что сваренной кониной. И еще в красной монгольской чашке *арака* дымится.

Пастуху и не снилось такое угощение, руку протянуть к пище он не смеет.

И вдруг слышится голос хозяина:

— До моих ушей дошел слух, что ты жизнь богатырей воспеваешь, говорят, что поешь очень красиво. Вот, значит, ты спой мне сегодня.

После таких слов пастух онемеет. Не может он так свободно, открыто петь, как пел в лесу, в горах под мохнатым кедром, под красной лиственницей. Чистый горный воздух, казалось, очищал ему горло. А тут в горле будто комок застрял. Перед ним бай или *зайсан*, смотрит на него холодными волчьими глазами. Своим взглядом, будто свинцом, придавил горло пастуха-кайчи. Пастух или раб боится, что теперь ничего не выйдет, голоса нет. Но постепенно под гул волосяных струн топшуура он начинает петь сказание, восхваляя прежде всего великих *каанов.* Он понимает, что победить в песне, которая поется на белой кошме, перед баем или зайсаном, должен, конечно, бай или зайсан или знаменитый каан.

Я думаю, что именно по таким причинам в алтайских сказках, в эпосе часто восхваляются феодалы.

А случалось, что, выслушав сказание, которое не по душе пришлось, зайсан говорил пастуху-кайчи:

— Довольно! Больше ты этих богатырей никому не воспевай.

Сейчас наш народ новые сказки, новые песни слагает. Но наряду с этим люди помнят и старое. Это настоящий золотой фонд — наш героический эпос. К стыду нашему, еще мало записываем, еще недооцениваем значения алтайского народного творчества. Произведения алтайского эпоса знают по большей части старики старше шестидесяти-семидесяти лет. Не надо ждать счастливой случайной встречи со стариком кайчи, не надо надеяться, что будет время, еще успеем записать сказку. Следует искать этих кайчи, как охотник ищет след драгоценного зверя, которого уже почти не осталось на земле.

В этом сборнике лишь небольшая часть того, что хранят в своей памяти алтайские сказители.

Мы действительно охотились за этими сказками, как охотники за дичью. Услышим где-нибудь сообщение о каком-либо сказителе и потихоньку отправляемся туда. Переходим бродами бесчисленные алтайские ручьи и реки, переходим через горные перевалы. Наконец мы приехали к аилу сказителя. Спешиваемся, расседлываем коней.

Старик смотрит на нас приветливо:

— *Кайда дьюрген, улустар?* (Куда едете?) — спрашивает.

Мы отвечаем.

Услыхав о сказках, он сдвигает брови:

— *Бош иок* (Времени нет), — скажет он сурово.

Но потом, после наших уговоров-разговоров добавит, как бы нехотя:

— Ну, если это шибко надо, то могу немного рассказать, и при этом чуть заметно улыбнется, сощурив глаза.

И вот начинается рассказ или песня. Слова катятся друг за другом ровно, гладко. И тут только успевай записывать!

Под конец он улыбнется дружески и скажет:

— *Бугун болор* (На сегодня хватит). Иду на работу, я колхозник. Не выйти на работу неудобно.

Набьет еще разок трубку табаком, крепкими руками пожмет наши руки и зашагает к своей работе.

Тут с невольною досадой кладешь тетрадку в полевую сумку...

Павел Кучияк

ПРО ДЕДА И БАБУШКУ, ПРО СИНЮЮ КОРОВУ И КАБАРГУ-ЛАКОМКУ

У опушки черного леса, на берегу быстрой реки, возле пушистых лиственниц стоял маленький, крытый корьем аил. В аиле жили дед и бабушка. Деда звали Коголдей-мерген, бабушку — Ялакай-алтын. Оба они под старость, словно зайцы к зиме, совсем побелели.

Никого, ничего у них не было, только синяя корова. Бабушка корову доила, молоко заквашивала, твердый алтайский сыр — курут под костром коптила. Дедушка острым ножом вырезал из березового капа славные чашки — чочойки, красивым узором их украшал.

Синяя корова летом паслась на лесной поляне, а зимой вместе с дедом и бабушкой в аиле жила.

Долгими осенними ночами, у жаркого костра, старик сказки пел, песни свистал. Голос его то журчал переливчато, как горный ручей, то громом гремел, то звенел нежно, будто кукование кукушки ранней весной.

Старуха при свете костра шкуры звериные мяла, чтобы одежда, из них пошитая, мягкой, легкой была. Разминая шкуры, сказки слушала.

И сказки эти так гладко текли, что из полусонного черного леса, с каменных россыпей чуткая кабарга прибегала деда послушать. Свет костра белел на ее длинных клыках, — всю ночь, бывало, около аила стоит, слушает.

Но вот однажды кабарга и днем о сказках вспоми-

нала. Осторожно тонкими ногами перебирая, спустилась она к шалашу. Там стоял котел, полный молока. Кабарга заглянула в котел, понюхала и сама не заметила, как все молоко выпила.

— Ох, вкусно... Однако, так наевшись, далеко не убежишь.

И кабарга прилегла отдохнуть в тени лиственниц.

Вернулась старуха домой, хотела молока вскипятить, а котел пустой! Старуха даже руки подняла:

— Шестьдесят лет под этим небом живем, такого не случалось. Кто молоко выпил?

От стыда мигом вскочила кабарга, без оглядки умчалась. На высокие скалы, на горные уступы взобралась, куда и когтистому зверю не подняться. На холодные острые камни прыгнула, куда и крылатой птице не залететь.

Весь день, всю долгую ночь бродила в горах кабарга... Под утро снова легким шагом подошла к аилу, опять молоко выпила и умчалась в горы.

Рассердились старики, воткнули в землю три шеста и поставили котел на эти шесты.

Когда старик ушел на охоту, а старуха погнала на луг синюю корову, кабарга прибежала к аилу. Увидала — котел поднят высоко, губами пожевала:

— Бш-ш-ш-ш... — головой повела. — Пш-ш-ш, меня старики испугались, молоко вон куда поставили!

Стукнула передними копытами по шестам, котел качнулся, и молоко выплеснулось кабарге на спину. Серая спина покрылась молочными пятнами.

Сколько по земле каталась кабарга! Сколько о камни терлась! Нет, белые пятна стереть невозможно.

Стыдясь этой отметины, кабарга теперь всегда к серым камням жмется, в непроходимой чаще прячется. А все же осенними вечерами, как только заведет ста-

рик Коголдей-мерген горловую свистящую песню, не вытерпит кабарга, с каменных россыпей, с высоких скал спустится и, притаясь в тени деревьев, уши насторожит, не шевелясь, стоит слушает.

И нам тоже дедушку Коголдей-мергена довелось послушать, молоко синей коровы и копченого сыра — курута отведать.

Сколько раз, бывало, вместе с алтайским поэтом Павлом Кучияком мы к дедушке Коголдей-мергену верхом приезжали. Ставили свой шалаш рядом с его аилом. Ранним утром слушали мы голоса птиц, днем ходили звериными тропами; притаясь, смотрели, как маленький сы-

гырган-сеноставец режет острыми зубами высокую траву и, высушив, собирает в стога. Мы видели, как, сложив на груди лапы, беззаботно спят, пригревшись на солнышке, пушистые барсучата. Любовались лисятами, когда они, играючи, гонялись друг за дружкой по лесной поляне.

К костру деда Коголдей-мергена и бабушки Ялакай-алтын приходили охотники, пастухи, молодые колхозники...

Здесь, у этого костра, нам посчастливилось услышать знаменитого на Алтае слепого певца старика Улагашева, известного сказителя Сабашкина, слепую девушку-сказочницу Казак Какпоеву, молодого колхозника-весельчака и замечательного рассказчика Кыргызакова...

И вот однажды заседлали мы двух лошадей, каждой повесили на шею литой медный колоколец-ботало, чтобы слышно было, где ходят, когда пустим их на ночь пастись. Захватили с собой дорожные охотничьи мешки — арчимаки, взяли винтовку, одну на двоих, и выехали в долины и горы Алтая.

На кедрах уже как свинцом налились, потяжелели большие, с кулак, синие шишки. Тонкая, будто вырезанная из бумаги, хвоя лиственниц пожелтела.

Кучияк сказал:

— Богатырь, нам с вами еще неведомый, пил из золотой чочойки золотистое вино и, захмелев, расплескал его по всему Алтаю...

И правда, той осенью Алтай стоял весь золотой, только кедры остались синими.

Семь дней мы верхом пробирались по горной лесной тропе, по краю обрыва ехали, частые ручьи переходили. Через большие реки каменистыми бродами шли. На восьмой день у опушки черного леса, на берегу

быстрой реки, под мохнатыми, пожелтевшими лиственницами спешились. Стреножили коней, а сами поспешили к шалашу. Подошли, а там нет никого. Ни деда, ни бабушки, ни синей коровы. Кабаргожьи следы вели к трем покосившимся шестам, обратного следа мы не нашли. Зола белела на месте костра, покрытый ржавчиной топор лежал рядом с красным, упавшим на землю стволом высохшей лиственницы.

Этим топором Кучияк стесал кусок коры с жерди под навесом и карандашом написал по-алтайски:

Оседлав коней, два охотника в путь тронулись,
Полные сумины сказок они добыли.
С намеченного пути сбились,
В этот шалаш забрели, здесь отдыхали.
До свидания, неизвестный охотник!
Пусть шалаш ваш никогда не разрушится,
Пусть арчимаки ваши будут лобычей полны,
Пусть трубка ваша всегда дымится.

...Уже давно нет среди нас алтайского поэта Павла Кучияка. Нет всеми на Алтае почитаемого старика Улагашева. Не возьмет в руки топшуур, с двумя струнами из конского волоса, прославленный Сабашкин. Не услышим мы Казак Кокпоеву, не приложит она к губам маленький, изогнутый наподобие подковы комыс, не сыграет на нем песню летящих в небе серых гусей. Не придет к лесному костру колхозник Кыргызаков, чтобы самому посмеяться и нас посмешить озорными шутками-прибаутками...

Но сказки живут! Их сберегли, передавая друг другу из уст в уста не знавшие грамоты пастухи и охотники.

Анна Гарф

КАК СИНИЦА БЕРКУТА ОБМАНУЛА

В старину, в далекую старину, все птицы жили на юге, и весной на Алтае пели-щебетали только горные ручьи и реки.

Однажды эту весеннюю песню воды принес в теплые края северный ветер. Всполошились птицы.

«Кто это так славно поет, кто звенит, ни днем, ни ночью не умолкая? Какая радость случилась, какое счастье пришло на Алтай?»

Однако лететь в неведомую землю было страшно.

Напрасно уговаривал беркут скворцов и трясогузок, дроздов и кукушек. Отказались пуститься на север мудрые совы, нежные зяблики, серые гуси, свирепый ястреб. Даже благородный сокол собраться в дорогу не решился.

Только маленькая синичка отважилась. Взмахнула крыльями и полетела.

— Слушай, — крикнул ей вдогонку беркут, — если там хорошо, возвращайся скорей, покажи всем птицам дорогу!

— Цици-вю, цици-вю, цици-вю! — засвистала синица. —Вернусь-вернусь-вернусь! Цици-фьюить!

Летела синичка над морями и долинами, над лесами и реками. Сначала спешила-торопилась, часто-часто перебирала крыльями, потом все медленнее, медленнее... Живот у нее озяб, крылья ослабели... И когда

уже совсем обессилела, увидала холмистые алтайские горы. В лучах восходящего солнца Алтай стоял весь розовый. Сверкали, будто огнем охваченные, холмы и долины.

— О, какой большой костер! — сказала синичка. — Уж лучше сгореть, чем замерзнуть...

Сложила она крылья и упала. Но не в огонь, а на снег.

Снега синица не знала, испугалась: «Умру я сейчас...»

Уже и голову склонила, да вдруг увидала на заметенном снегом кусте гроздь ярко-красных ягод. Согретые солнцем, они сверкали, светились! Это была калина. А рядом, на пне, в трещине увидала синица личинку...

Клюнула разок, клюнула другой, и сердце у нее взыграло, живот согрелся, голова легкая стала!

С каждым днем залетала она в лес все дальше, еды находила все больше. Хорошо, оказывается, жить здесь, на Алтае.

И слово свое «вернусь-вернусь-вернусь» синица забыла.

Забыла, для чего сюда летела, кто послал ее в этот обильный край; где родилась, и то уже не помнит.

Но вот однажды зашатались деревья от ветра, почернело небо от птичьих крыльев. Это прилетело птичье войско.

Впереди всех грозный беркут.

Опомнилась синица, испугалась. А беркут уже кружит над ней:

— Хорошо ли живешь, синица?

Молчит она, даже хвостик не трепещет.

— Почему к нам не вернулась? — спрашивает беркут. — Почему всех птиц в этот богатый край не позвала?

Голову синичка опустила, слова сказать не может. оправдаться не смеет.

Тихо-тихо стало в лесу, и синица услышала тенькание первой весенней капели. Встрепенулась синичка, запела, откуда голос такой звонкий взялся:

— Дьил-кель!.. Дьил-кель!.. Весна, приди! Весна, приди! Кланяюсь вам до земли, великий беркут! Посмотрите, в этом краю лед в семь рядов лежит, снег из семидесяти семи туч падает. Я одна тут с зимой спорю, весну зову: «Дьил-кель!.. Дьил-кель!.. Весна, приди! Весна, приди!» Это по моей просьбе теплый ветер подул, белый снег потемнел. Сама за вами лететь собиралась, да недосуг, весеннюю песню оборвать нельзя. «Дьил-кель!.. Дьил-кель!.. Весна, приди, приди!» Цици-вю, цици-вю! Цок-цок-цок! Цици-фьюить! Слушайте, слушайте, великий беркут, смотрите, смотрите! Дьил-кель!.. Дьил-кель, — звенела синица. — Весна, приди!

И там, где слышалась эта песня, снег таял, просыпались ручьи и реки, лопались на деревьях тугие почки.

— Ладно, — засмеялся беркут, — на этот раз прощаю тебя, легкая головушка. Через год видно будет, правду ли ты говоришь.

Вот с тех пор, чтобы обман не раскрылся, синица раньше всех в лесу запевает весеннюю песнь, а за ней начинают петь и другие птицы.

КРАСНАЯ ЛИСА И СЫГЫРГАН-СЕНОСТАВЕЦ

На каменной россыпи у светлого ручья, в щели меж двух валунов, жил маленький сыгырган-сеноставец.

Вместе со своими соседями-сыгырганами он резал зубами траву, сушил ее на камнях и ставил в стога.

А повыше стойбища сеноставцев жила горная красная лиса.

Вот однажды в пасмурный день вышла она на охоту. Услыхал сыгырган-малыш осторожные лисьи шаги, почуял запах, головой повертел да как крикнет:

— Сыйт! Сыйт! Лиса идет!

Сеноставцы юркнули в щели, в норы, осталась на каменной россыпи лишь сухая трава.

Понюхала лиса стожок, другой и чуть не заплакала:

— Еще ни одна лиса сеном не кормилась, неужто я буду первая?

Выдернула из стожка клок, пожевала, а проглотить не может, только язык оцарапала да в горле запершило.

«А все из-за этого пищухи, из-за этого крикуна, — рассердилась лиса. — Погоди-погоди! Съем я тебя и всю семью твою».

Подошла к щели меж двух валунов и заверещала ласково:

— Ияу-у, какой старательный хозяин здесь живет, как ровно он траву нарезал, как хорошо просушил, как ловко стога сметал! На всей россыпи не найдешь

стогов лучше, даже человек мог бы у этого сеноставца поучиться. Вот было бы счастье на такого умницу хотя бы одним глазком взглянуть!

Слыша эти похвалы, сыгырган в своей норе спокойно лежать не может, с боку на бок ворочается, вздыхает даже.

А лиса еще умильней тявкает:

— Неужто я никогда этого расторопного молодца не увижу? Ах, как приятно было бы с ним побеседовать...

Не вытерпел сыгырган, высунул мордочку из норки.

— И-я-у! — улыбнулась лиса. — Как он с лица-то хорош! Взглянуть бы и на спинку. Говорят, со спины он еще краше.

Сыгырган спрятал голову, выставил спинку.

Тут лиса и схватила его! Сыгырган даже крикнуть не успел.

Бежит лиса к себе в горы, своих деток сеноставцем угостить спешит. Крепко сеноставец зубами лисьими прижат.

Плачет, бедняга, приговаривает:

— Ох, несчастный мой отец, бедная мать...

Услыхала сорока этот громкий плач, распахнула она свою черную шубу с белой оторочкой, полетела следом за лисой и застрекотала:

— Сам-сам ты, сыгырган, лисе в зубы полез. О чем-чем-чем ты теперь плачешь?

— Как мне не плакать, слез не лить? Отец и мать меня всегда просили, уговаривали: «Не оставляй нас, сынок. Куда бы ты ни вздумал поехать, бери и нас». И вот видишь, сорока, случилось так, что сам я в горы еду, а родителей дома оставил. Никогда мне этого отец

с матерью не простят. Всю жизнь они на меня будут в обиде.

Остановилась лиса и, не выпуская сеноставца, пробормотала:

— Я могу и штариков твоих вжять. Где они?

— Тут близехонько, вон в тех камушках.

— Пожови их шкорей! — сказала лиса и разжала зубы.

— Сыйт! Сыйт! — крикнул сеноставец и юркнул в щель между камней.

Спохватилась лиса, успела ухватить сыгыргана за хвост. Цепко в зубах держит, не отпускает.

Однако и сеноставец крепко засел в щели, не вылезает.

Тянула его лиса за хвост, тянула, никак не вытянет. Рванула из всех сил, да вдруг как перекувырнется! Затылком о камни стукнулась, еле-еле на ноги встала — в зубах у нее только сыгырганов хвостик.

С того дня у лисы морда вытянулась, а сеноставец остался без хвоста.

ЛЯГУШКА И МУРАВЬИ

Жила-была лягушка. Она жила у маленького круглого озера. Вот однажды вышла из своего дома и прыг-скок по берегу, прыг-прыг — в лес заглянула, скок-скок — дорогу домой потеряла.

Метнулась туда, кинулась сюда и попала на муравьиную тропу.

Муравьи десятками вскочили ей на спину, сотнями вцепились в живот.

— Ква-а, — заплакала лягушка, — кво-о... Как-ак не стыдно заблудившегося обижать, голодного кусать?

Муравьям стало совестно. Спрыгнули они на землю, низко лягушке поклонились:

— Уважаемая тетушка! Пожалуйте к нам в гости пищу нашу отведайте, питье наше пригубьте.

Пришла лягушка к муравьям, села на почетное место. Ела и пила, песни пела и беседу вела, о чем говорила, сама не поняла — так много меду выпила. Где сидела, там и уснула.

Проснулась, когда солнце высоко поднялось. Муравьи давным-давно на работу ушли, только один муравьишка замешкался — он после вчерашнего пира чашки-ложки убирал.

— Пожалуйста, влезь на эту лиственницу, — попросила лягушка, — кругом посмотри. Не увидишь ли ты, в какой стороне мой дом, мое круглое озеро...

Муравей влез на дерево, во все стороны посмотрел и говорит:

— Вон там, на западе, блестит ваше озеро. Если хотите, провожу вас туда самой короткой дорогой.

— Ка-какой ты добрый! — обрадовалась лягушка. — Пойдем, пойдем скорее. Дома я тебя хорошо угощу.

— Дорогу показать могу, — ответил муравьишка, — но угощаться не стану. Мы, муравьи, ни работать, ни отдыхать поврозь не умеем.

— Ладно, ладно, пусть все идут ко мне в гости. Только бы домой засветло добраться.

Муравей спустился с дерева и побежал к озеру. Лягушка прыг-прыг, скок-скок за ним, а за лягушкой муравьи, как ручьем, потекли — все-все, сколько их было в этом муравейнике, и в соседних, и в дальних. Со всего леса собрались к лягушке в гости.

Вот пришли к озеру. Обернулась лягушка, а на берегу черным-черно. Столько муравьев, что и травы не видно!

У лягушки глаза выпучились:

«Что теперь делать? Сама же всех позвала...»

— Ква-а, какая честь, ка-ак я рада! Подождите меня здесь на берегу, а я насчет угощенья распоряжусь.

И бултых в воду!

Муравьи день стоят ждут, два дня ждут, а лягушки и не видно.

На седьмой день рассердилась муравьиная матка.

— Ну, — говорит, — лягушкиного угощенья ждать — с голоду умрешь.

Затянула она потуже пояс на пустом брюшке и пошла домой.

Все муравьи тоже пояса подтянули и разбрелись по своим муравейникам.

С тех пор и поныне ходят муравьи перетянутые туго-натуго.

А глаза у лягушки так и остались выпученные.

СТО УМОВ

Как стало тепло, прилетел журавль на Алтай, опустился на родное болото и пошел плясать. Ногами перебирает, крылья то опустит, то поднимет, головой вертит, шею изгибает...

Бежала мимо голодная лиса. Позавидовала она журавлиной радости, заверещала:

— Смотрю и глазам своим не верю — журавль пляшет! А ведь у него, бедняги, всего две ноги!

Остановился журавль, глянул на лису, а у той — одна, две, три, четыре лапы! Журавль даже клюв разинул.

— Ой! — крикнула лиса. — Ой, в таком длинном клюве ни одного-то зуба нет!..

А сама во весь рот улыбается, свои зубы кажет.

Закрыл клюв журавль, голову повесил.

Тут лиса еще громче засмеялась:

— Ха-ха! Куда он свои уши спрятал? На голове ушей не видно. Эй, журавль, а в голове у тебя что?

Я сюда из-за моря дорогу нашел, — чуть не плачет журавль, — есть, значит, у меня в голове хоть какой-то умишко...

— Ох и несчастливый ты, журавль, — говорит лиса. две ноги да один ум. Ты на меня погляди: четыре ноги, два уха, полон рот зубов, сто умов и замечательный хвост!

С горя журавль вытянул длинную шею и увидал

вдали человека с луком на плече, с колчаном стрел у пояса:

— Лиса, почтенная лиса, у вас четыре ноги, два уха и замечательный хвост, у вас полон рот зубов, у вас сто умов... Охотник идет! Как нам спастись?

— Ой! Мои сто умов мне сто советов дают. Не знаю, которому следовать...

Сказала и юркнула в барсучью нору.

Журавль подумал: «Ведь у нее сто умов!» — и туда же следом за ней.

Охотник такого еще не видывал, чтобы журавль и лиса вместе жили.

Сунул руку в нору, ухватил журавля за длинные ноги и вытащил его на свет. Крылья у журавля распустились, повисли, глаза будто стеклянные, даже сердце не бьется.

«Задохся, верно, в норе», — решил охотник и швырнул журавля на кочку.

А лисе не терпится узнать: «Куда это журавль ногами вперед поехал?»

Выглянула из норы и попала в охотничий мешок!

«Пожалуй, и журавля в мешок брошу, — рассудил охотник, — все же сгодится собакам на ужин».

Обернулся, глянул на кочку, а журавля-то и нет! Высоко в небе летит он, даже стрелой не достанешь.

Так попалась лиса, у которой было сто умов, полон рот зубов, четыре ноги, два уха и замечательный хвост.

А журавль одним умишком пораскинул, да и то смекнул, как спастись.

МЕДВЕЖИЙ ПОДАРОК

Всю долгую зиму крепко спал в своей берлоге бурый медведь. Когда синица запела весеннюю песенку, он проснулся, вышел из темной ямы, лапой глаза от солнца заслонил, чихнул, на себя посмотрел:

— Э-э-э, ма-аш, как я похуде-ел... Всю долгую зиму ничего не е-е-ел...

Его любимая еда — кедровые орехи. Его любимый кедр — вот он, толстый, в шесть обхватов, у самой берлоги стоит. Ветки частые, хвоя шелковая, сквозь нее даже капель не каплет.

Поднялся медведь на задние лапы, передними за ветки кедра ухватился, ни одной шишки не увидел, и лапы опустились:

— Э, ма-аш! — пригорюнился медведь. — Что со мной? Поясница болит, лапы не слушаются... Состарился я, ослаб... Как теперь кормиться буду?

Двинулся сквозь частый лес, бурную реку мелким бродом перешел, каменными россыпями шагал, по талому снегу ступал, сколько звериных следов чуял, но зверя ни одного не настиг: охотиться силы нет...

Уже на опушку леса вышел, никакой еды не нашел, куда дальше идти, сам не знает. И вдруг он услыхал:

— Брык-брык! Сык-сык! — Это, испугавшись медведя, закричал бурундучок.

Медведь хотел было шагнуть, лапу поднял, да так и замер: «Э-э-э, ма-а-а-ш, как же я о бурундуке забыл? Бурундук — хозяин старательный. Он на три года вперед орехами запасается. Постой-погоди! — сказал самому себе медведь. — Надо нору бурундукову найти, у него закрома и весной не пустуют».

И пошел землю нюхать... И нашел! Вот оно, бурундуково жилище. Но как в такой узкий ход такую большую лапу просунешь?

Трудно старому мерзлую землю когтями царапать, а тут еще корень, как железо, твердый. Лапами его тащить? Нет, не вытащишь. Зубами грызть? Нет, не разгрызешь. Размахнулся медведь — рраз! — дерево упало, корень сам из земли вывернулся.

Услыхав этот шум, маленький бурундук ум потерял. Сердце так бьется, будто выскочить хочет. Бурундучок передними лапами рот зажал, слезы из глаз ключом бьют: «Зачем я, медведя увидав, крикнул? Для чего сейчас еще громче кричать хочу? Рот мой, зажмись!»

Быстро-быстро вырыл бурундук на дне норы ямку, залез туда и даже дышать не смеет.

А медведь просунул свою огромную лапу в бурундукову кладовую, захватил горсть орехов, сжевал.

— Э, ма-аш! Говорил я: бурундук — хозяин добрый. — Медведь даже прослезился. — Видно, не пришло еще время умирать. Поживу еще на белом свете...

Опять сунул лапу в кладовую — орехов там полным-полно!

Поел, погладил себя по животу:

«Отощавший желудок мой наполнился, шерсть как золотая блестит, в лапах сила играет. Еще немного пожую, совсем окрепну».

И медведь так наелся, что уже и стоять не может.

— Уф, уф... Сыт я, сыт-пересыт, выше головы сыт. И сердце теперь, и печень у меня чистые, и голова ясная...

На землю сел, думает:

«Нало бы этого запасливого бурундука отблагодарить. Хорошо бы что-нибудь на память ему подарить. Да ведь я бедный старик, нет у меня ничего».

Почесал лапой за ухом:

— Э-э, ма-а-аш, что же теперь делать?.. Ладно, хоть спасибо ему скажу, — решил медведь.

— Эй, хозяин, спасибо! Да где же он? Спа-си-ибо!!

Но бурундук в ответ ни слова.

— Эй, хозяин, отзовитесь!

А бурундук еще крепче рот свой зажимает. Но медведь не уходит:

«Стыдно будет мне в лесу жить, если, чужие запасы съев, я даже доброго здоровья хозяину не пожелаю».

Заглянул в норку и увидел бурундуков хвост.

— Хозяин-то, оказывается, дома! — обрадовался медведь. — Благодарю вас, почтенный. Спасибо, уважаемый. Пусть закрома ваши никогда пустыми не стоят, пусть желудок ваш никогда от голода не урчит... Позвольте обнять вас, к сердцу прижать.

Бурундук по-медвежьи разговаривать не учился, медвежьих слов он не понимает. Как увидел над собой когтистую лапу, закричал по-своему, по-бурундучьи: «Брык-брык, сык-сык!» — и выскочил было из норки. Но медведь подхватил его своей лапой, к груди прижал и речь медвежью дальше ведет:

— Спасибо, дядя, голодного меня вы накормили, усталому мне отдых дали. Неслабеющим, крепким будьте, под урожайным богатым кедром всегда живите, пусть дети ваши, и внуки, и правнуки нужды-голода не знают...

«О-о, какой страшный голос, — дрожит бурундук, — о-о, какое грозное рычание...»

Освободиться, бежать хочет, медвежью жесткую лапу своими коготками изо всех сил скребет, а у медведя лапа даже не чешется. Ни на минуту не умолкая, он бурундучку хвалу поет:

— Я громко, до небес, благодарю, тысячу раз спасибо говорю! Взгляните на меня хотя бы одним глазом...

— Э-э, ма-аш! — покачал головой медведь. — Где, в каком лесу росли вы? На каком пне воспитывались? Спасибо вам говорят, а вы ничего не отвечаете, глаз своих на благодарящего не поднимаете. Улыбнитесь хоть немножко!

Замолчал, голову наклонил, ответной речи ждет, а бурундук думает:

«Кончил рычать, теперь он меня съест».

Рванулся из последних силенок и выскочил!

От пяти черных медвежьих когтей заструились по спине бурундука пять черных полос. С той поры и носит бурундук нарядную шубу. Это ему от медведя такой подарок.

СЕРДИТЫЙ ВОРОБУШЕК

Гнался за бабочкой серый воробушек. Он очень устал.

— Ой, отдохну!

Сел на ветку акации, а там шипы. Укололся, заплакал:

— Овца, овца, иди сюда, давай с тобой акацию съедим!

— Нет, ты ко мне лети, давай с тобой травы пощиплем.

Рассердился воробушек, полетел к волку:

— Волк, волк, давай с тобой овцу съедим!

— Нет, лучше давай с тобой дохлую лошадь сожрем.

— Ах, ты вот каков! — крикнул воробушек и полетел к охотнику:

— Охотник, охотник! Давай с тобой пойдем волков бить.

Охотник снял с плеча лук, спустил стрелу. Стрела вонзилась волку под ребро.

Убитый волк испугался — пошел овцу есть. Съеденная овца испугалась — пошла акацию жевать.

Так тебе и надо, гадкая акация! Зачем воробушка доброго, хорошего уколола?

СТРАШНЫЙ ГОСТЬ

Жил-был барсук. Днем он спал, ночами выходил на охоту. Вот однажды ночью барсук охотился. Не успел он насытиться, а край неба уже посветлел. До солнца в свою нору спешит барсук. Людям не показываясь, прячась от собак, шел он там, где тень гуще, где земля чернее. Подошел барсук к своему жилью и вдруг услышал непонятный шум:

— Хрр... Бррр...

«Что такое?»

Сон из барсука выскочил, шерсть дыбом встала, сердце чуть ребра не сломило стуком.

«Я такого шума никогда не слыхивал...»

— Хррр... Фирлить-фью... Бррр...

«Скорей обратно в лес пойду, таких же, как я, когтистых зверей позову, я один тут за всех погибать не согласен».

И пошел барсук зверей на помощь звать:

— Ой, у меня в норе страшный гость сидит! Помогите!

Прибежали звери, ушами к земле приникли — в самом деле от шума земля дрожит.

— Брррррррк, хрр, фью...

Изо всех восьми ходов-выходов так и гремит.

У зверей ноги ослабели.

— Ну, барсук, это твой дом, ты первый и полезай.

Обернулся барсук — большие когтистые звери вокруг стоят, подгоняют:

— Иди, иди!

А сами от страха хвосты поджали.

«Что делать, — думает барсук, — как быть?»

— Чего стал? — тявкнула лиса.

Медленно, нехотя подошел барсук к главному входу.

— Хрррр! — вылетело оттуда.

Отскочил барсук к другому входу-выходу.

— Бррр!

Принялся барсук еще один ход рыть. Обидно родной дом разрушать, да что поделаешь — со всего Алтая свирепые звери собрались.

— Скорей, скорей! — торопят.

Наконец, чуть жив от страха, пробрался он в свою спальню.

— Хррр, бррр, фррр...

Это, развалясь на мягкой постели, громко храпел белый заяц.

Звери со смеху на ногах не устояли, покатились по земле:

— Заяц! Барсук зайца испугался! Ха-ха! Хо-хо хо!

— От стыда куда теперь спрячешься, барсук! Против зайца какое войско собрал! Ха-ха-ха! Хо- хо-хо!

Барсук головы не поднимает, себя бранит:

«Почему, шум в своем доме услыхав, сам туда не заглянул? Для чего пошел на весь Алтай кричать?»

А заяц знай себе спит-храпит.

Рассердился барсук да как пихнет его:

— Пошел вон! Кто тебе здесь спать позволил?

Проснулся заяц — глаза чуть не выскочили, перекосились! И волк, и лисица, рысь, росомаха, дикая кошка — все когтистые звери здесь...

«Ну, — думает заяц, — будь что будет!»

И — прыг барсуку на лоб. А со лба, как с холма, опять скок! — и в кусты.

От белого заячьего живота побелел лоб у барсука. От задних заячьих лап прошли белые следы по щекам.

Звери еще громче рассмеялись:

— Ой, барсу-у-ук, какой ты красивый стал! Хо-ха-ха!

исчислимых табунов не видно, голосов не слышно. Конские катышки высохли, коровьи лепешки побелели, зола в очагах остыла. Черный, пустой Алтай стоит.

Испугался коростель: «Грозный Ай-каан голову мою отрубит, душу разорвет, я помочь ему опоздал...»

Часто-часто перебирая крепкими ногами, побежал коростель по следам. Перевалил через горы, перелетел через реки. У болота остановился:

— Здесь отдохну немного...

Только собрался уснуть, как услышал голоса:

— Бажынан тарт, чалынан тарт! Тарт, тарт, та-арт!

Прижался коростель к земле, вытянул шею и смотрит: в болоте, оказывается, двухлетний жеребенок увяз, и два раба Ай-каана тянут жеребенка за гриву, держат за голову и приговаривают, один другого подбадривая:

— Бажынан тарт — голову вытягивай! Чалынан тарт — гриву тяни!

— Дергай, дергай — тарт, тарт.

Вдруг земля закачалась, небо зашаталось и будто железо загремело, словно сто медведей разом заревели. Это Ай-каан к болоту прискакал:

— Жеребенка вытянуть не можете? — крикнул он. И засвистала плеть по голым спинам двух рабов.

От этого окрика у коростеля мозг задрожал, печень чуть не лопнула. Пошевелиться коростель не смеет, взора от Ай-каана отвести не может. Борода у каана со щек до плеч свешивается, от подбородка до пояса висит. Глаза кровью налились, ременная плеть воздух со свистом сечет. У бело-солового коня от тяжести всадника спина вогнулась, на губах пена, копыта в землю по щиколотку вдавились.

Коростель, как быть, что делать не знает. Туда-сюда побежал — хитрости нет, выхода нет. Но погибать коростелю не хочется.

Подбежал он к тонущему в болоте жеребенку и закричал рабам:

— Бажынан тарт — голову вытягивай, чалынан тарт — за гриву тяни! Тарт-тарт-тарт! Дергай, дергай, дергай...

Так коростель кричал старательно, что даже охрип.

Когда Ай-каан увидал, какая малая пичуга так громко орет, то поневоле рассмеялся и хохотал, пока плеть не уронил. Повернул бело-солового коня и поспешил к своим стадам.

А коростель на месте остался и всю ночь до утра свое «тарт-тарт-тарт», «дерг-дерг-дерг» повторял. И теперь он тоже ничего другого сказать не может, от страха все другие слова из головы у него выскочили.

КАК МЫШЬ ПОБЕДИЛА ВЕРБЛЮДА

У каждого из двенадцати месяцев есть свое имя. Но и у каждого года из двенадцати есть свое название, только не все это знают. А когда-то было только одиннадцать названий — год Коровы, Тигра, Зайца, Дракона, Змеи, Лошади, Овцы, Обезьяны, Курицы, Собаки, Свиньи. Но у двенадцатого года имени еще не было.

— И-и-и-и... — печалилась мышка. — Почему бы этот двенадцатый год не назвать годом Мыши? Ах, как мне этого хочется...

— А я-а-а-а-а-а?! — закричал верблюд. —Я тоже хочу-у! Хочу, чтобы двенадцатый год назывался бы годом Верблюда.

— Я первая сказала «хочу», — пискнула мышь. — Неужто вы, дядя верблюд, такой почтенный, такой большой, будете спорить со мной, ничтожной мышью? Все, все слышали, как я плакала о годе Мыши. Конечно, обидеть меня всякий может. Но, что правда, то правда, я сказала первая...

Так говорила она, ни на миг не умолкая, весь день, до темной ночи.

Верблюд наконец не вытерпел. Оттопырил нижнюю губу, сплюнул и произнес:

— Откуда в таком маленьком существе столько прыти? Замолчи, пожалуйста. Условимся: кто завтра первым увидит солнце, тот и даст свое имя году.

Мышь согласилась.

Верблюд тут же повернулся мордой к востоку и уставился в черное небо.

Долго стоял так, даже мигнуть боялся, потом устал и прилег. «Все равно я увижу солнце раньше, чем его увидит мышь. Потому что моя шея длиннее, голова выше».

Мышь около верблюда, как наперсток рядом с котлом.

Верблюд спокойно лежит, голову высоко держит, а мышь ни минуты не остается на месте. Туда-сюда шмыгает и плачет:

— И-и-и-и-и... я до утра не доживу, и-и-и-и... Бывало, как станет мне страшно, я спрячусь в норке, а тут сил моих нет страх этот терпеть. То горностаем, то рысью пахнет. Учуют они меня, учуют, и не спастись мне от их зубов. И-и-и-и... Ай! Вон сова на дереве сидит, головой вертит, уши у нее далеко слышат, глаза далеко видят. Когтями схватит она меня, клювом разорвет... Ай, и лиса тоже бежит сюда, ай! Милый верблюд, спасите, помогите, позвольте мне влезть на ваш горб.

Верблюд оглянулся, посмотрел на свой горб и подумал:

«Горб, однако, когда я лежу, куда ниже головы. Мышь, и на горбу сидя, все равно меньше моего увидит».

— Ладно, садись. Только не смей смотреть на восток, гляди на запад.

Тихонько, осторожно, чтобы не обеспокоить верблюда, взобралась мышь на его горб и, роняя слезы, повернулась к западу.

Эта ночь и мыши и верблюду показалась очень длинной. Но вот звезды побледнели, небо побелело.

Верблюд вытянул шею, задрал голову:

«Сейчас я первый увижу солнце!» — подумал он.

Но мышь, которая все еще сидела на его горбу и сквозь слезы смотрела на запад, вдруг пискнула:

— И-и-и-и!!! Солнце, солнце!

— Солнце на западе? — фыркнул верблюд.

Хотел было верблюд над мышью посмеяться, но обернулся и увидел — будто богатырь, скинувший темную шубу, обнажилась, посветлела западная гора от первых утренних лучей.

Верблюд повернул голову, посмотрел на восток, и там тоже, оказывается, край неба узкой полоской зааллел. Всходило солнце. Но первой увидела его восход мышь.

С той поры последний год из каждых двенадцати стал называться годом Мыши.

УСЛУЖЛИВЫЙ ШМЕЛЬ

Было это или не было? Однажды Дельбеген-людоед позвал шмеля:

— Укуси каждого, кто по земле ногами ходит, узнай, чье мясо всех слаще.

Полетел шмель, покусал корову, собаку, лошадь, медведя, марала, козу, мышонка, человека.

— Жж-ж-ж-ж-ж-ж-ж! Человек всех слаже-же-же, слажжжжжж-же!

— Милый шмель, — взмолились люди, — не говори так людоеду. Он всех нас съест.

— Скажу, скажу-жу-жу! Скажжжжжу! Людоеду я служжжжж-у!

— Замолчи, пожалуйста, мы коня тебе дадим, шубу сошьем...

— Человек всех слаже-же-же, слажжжжжжж-же!

Сколько люди просили, плакали, но шмель не унимался.

— А не лучше ли будет, — сказал богатырь Сартакпай, — укоротить шмелю язык?

Схватил шмеля за крылышки и вырвал ему язык.

Вот прилетел шмель к людоеду, тот как зарычит:

— Где пропадал? Кто всех слаже?

А шмель в ответ:

— М-м-м-м-м-м-м-м-м... — И ничего другого он и сегодня сказать не может.

КАК БЕРКУТ ЦАПЛЮ НАКАЗАЛ

Это было во времена давние, когда птицы еще не знали, где кому положено гнездиться. Каждую весну птицы воевали, спорили. И случалось, что глухарь гнездился над водой, а лебедь в лесу.

И вот однажды решил орел созвать великую сходку, чтобы каждой птице указать, где надлежит ей впредь строить свой дом. Было повелено всем, имеющим крылья, прибыть немедля к орлиному стойбищу.

Едва старшина-цапля Кара-чилен-зайсан услыхал о сходке, тотчас распрямил крылья, поднялся и полетел.

Вместе с цаплей Кара-чиленом летели семеро верных слуг, семеро коростелей.

Семь морей они миновали, через семь горных перевалов перелетели, как вдруг услыхали:

— Ква-ква-а!

Посмотрели вниз, увидали болото, и в каждой луже, на каждой кочке пучеглазые лягушки квакают так громко, будто быки ревут.

Не вытерпел Кара-чилен-зайсан, спустился на болото. Его верные слуги туда же за своим старшиной. И началась великая охота!

Лишь на пятые сутки опомнился старшина-цапля, даже слезу в болото уронил:

— Мы на сходку опоздали...

Горько плача и причитая, поднялся Кара-чилен с жирного болота и полетел к орлиному стойбищу. Вместе с ним, нехотя, поднялись сытые-пересытые коросте-

ли. Тяжело перебирая крыльями, все вместе прибыли на сходку, опустились на землю и низко-низко орлу поклонились.

— Поч-ч-чему так долго летели? — грозно заклекотал орел.

— Ох-ох, — вздохнул Кара-чилен, — были на то важные причины. Указ ваш поздно получили, потом в пути с густым туманом встретились... Заблудились...

— Как это ты, почтенный старшина-цапля, не стыдишься лгать?

Разгневался беркут-орел, схватил Кара-чилена за макушку и оттрепал так, что перья на голове старшины-зайсана встали хохолком.

— Не быть тебе больше старшиной, — сказал беркут.

Почесал Кара-чилен голову, нащупал хохолок, и клюв у него с горя вытянулся.

Заплакал он в голос:

— Навсегда, навсегда я теперь меченый...

С той поры и поныне, как вспомнит Кара-чилен о хохолке, кричит и плачет. И дети Кара-чилена, как вылупятся, начинают горько плакать.

И нет у цапли другой песни, только этот жалобный крик.

— Гнездиться ты будешь в камышах, — решил беркут, — другие места уже заняты.

— А нам где прикажете гнездо строить? — всполошились коростели.

— Там же, у болота. Вы своего зайсана не поторопили, вместе с ним охотились, вместе и будете наказаны.

Давно все это было. Однако с той самой великой сходки каждая птица хорошо знает, куда ей лететь, где свое гнездо вить.

ЖУРАВЛЬ И КОРОСТЕЛЬ

Однажды весенним днем увидал беркут, как красиво журавль пляшет, и сказал:

— Будешь ты, журавль, теперь старшиной, назначаю тебя главным моим советником.

— Нет, нет! — вскричал коростель. — Другую птицу над нами поставьте, только не журавля. Какой журавль старшина? Днем-то он пляшет, а посмотрите на него утром? Чуть проснется — и начинает: «Курлы-курлы...» — жалобно плакать, будто одинокая старуха. Вечером летит над горами, над лесами, вытянув свои длинные ноги, и снова это свое «курлы-курлы» повторяет. Нет, нет! Какой это старшина?

Журавль не стерпел, подбежал к коростелю и так его клюнул в спину, что она сломалась.

Разгневался великий беркут:

— Ты что сделал, журавль! Коростеля покалечил, не может он теперь летать... За это будешь ты коростеля осенью на своих крыльях в теплые края уносить, а весною будешь привозить его обратно.

Давно-давно это было, а только и поныне, как осенью журавли улетят — и коростеля на болоте не слышно; а как весною послышится «курлы-курлы», и коростель закричит: «Дерг-дерг... тарт-тарт...»

Может, и правда журавль коростеля на своей спине до сей поры все еще туда-сюда возит?

ДВЕ ОДЕЖКИ

От жаркого весеннего солнца, от злого весеннего ветра сморщился снег, съежился. Стала земля обнажаться, стала трава пробиваться.

И звери и птицы весне рады, только белый заяц плачет:

— Снег, снег, не уходи! Меня, белого зайца, не покидай! Всю зиму я в твоем белом пуху ямки рыл, от мороза спасался, от врагов хоронился... На темной земле, в зеленой траве меня, белого, всякий увидит, каждый обидит. Снег, снег, не уходи! Меня, белого зайца, не покидай!

— Остаться здесь не могу. Но, если хочешь, шубку твою белую с собой унесу. Весна придет, бурый кафтан тебе принесет. А настанет пора, я, снег, вернусь, снова тебя, зайца, по-своему наряжу.

Так теперь это и заведено: все лето, всю осень бегает заяц по темной земле, по пестрой траве в буром кафтане. А к зиме снег возвращает зайцу белую одежду.

МЕДВЕДЬ-СУДЬЯ

Зимней порой вышел горностай на охоту. Под снег нырнул, вынырнул, на задние лапы встал, шею вытянул, прислушался, головой повертел, принюхался...

И вдруг словно гора упала ему на спину. А горностай хоть ростом мал, да отважен. Обернулся, как вцепится зубами в гору — не мешай охоте!

— А-а-а-а! — раздался крик, плач, стон, и с горностаевой спины свалился заяц.

Задняя лапа у зайца до кости прокушена, черная кровь на белый снег течет. Плачет заяц, рыдает:

— О-о-о! Я от совы бежал, свою жизнь спасти хотел. Я нечаянно тебе на спину свалился, а ты меня укуси-и-ил...

— Ой, заяц, простите! Пожалуйста, не сердитесь, я тоже нечаянно...

— Слушать ничего не хочу, а-а-а!.. Никогда не прощу! Пойду на тебя медведю пожалуюсь!

Еще солнце не взошло, а горностай уже получил строгий указ:

— В мой аил на суд сейчас же явитесь!

Старейшина здешнего леса темно-бурый медведь.

Круглое сердце горностаево екнуло, тонкие косточки со страху гнутся... Ох и рад бы горностай не идти, да медведя ослушаться никак нельзя.

Робко-робко вошел он в медвежье жилище.

Медведь на почетном месте сидит трубку курит, а рядом с хозяином, по правую сторону, — заяц. Он на костыль опирается, раненую лапу вперед выставил.

Медведь пушистые ресницы поднял и красно-желтыми глазами на горностая взглянул:

— Ты как смеешь кусаться?

Горностай, будто немой, только губами шевелит. Сердцу в груди совсем тесно.

— Я... я... охотился, — чуть слышно шепчет.

— На кого охотился?

— Хотел мышь поймать, ночную птицу подстеречь.

— Да, мыши и птицы — твоя пища. А зайца зачем укусил?

— Заяц первый меня обидел, он мне на спину свалился.

Обернулся медведь к зайцу да как рявкнет:

— Ты для чего это горностаю на спину прыгнул?

Задрожал заяц, слезы из глаз водопадом хлещут:

— Кланяюсь вам до земли, великий медведь, у горностая зимой спина, как снег, белая... Я его со спины не узнал... Ошибся...

— Я тоже ошибся, — молвил горностай, — заяц зимой тоже весь белый, я его с лица не узнал!

Долго молчал старик медведь. Перед ним жарко трещал большой костер, над огнем на железном треножнике стоял золотой котел с семью бронзовыми ушками. Этот свой любимый котел медведь никогда не чистил, боялся, что вместе с грязью счастье уйдет, и золотой котел был всегда ста слоями сажи, как бархатом, покрыт.

Протянул медведь к котлу правую лапу, чуть дотронулся, а лапа уже черным-черна. Этой лапой мед-

ведь зайца слегка за уши потрепал, и вычернились у зайца кончики ушей.

— Ну вот теперь ты, горностай, всегда узнаешь зайца по ушам.

Горностай, радуясь, что дело так счастливо обошлось, кинулся бежать, да медведь его за хвост поймал. Вот и почернел у горностая кончик хвоста!

— Теперь ты, заяц, всегда узнаешь горностая по хвосту.

Говорят, с той поры и до наших дней заяц с горностаем не сталкиваются.

ЖАДНЫЙ ГЛУХАРЬ

Роняет береза золотую листву, золотые иглы теряет лиственница.

Дуют злые ветры, падают холодные дожди. Лето ушло, осень пришла.

Птицам время в теплые края лететь.

Семь дней на опушке в стаи собирались, семь дней перекликались:

— Все ли тут? Тут ли все? Все иль нет?

Только глухаря не слышно, глухаря не видно.

Стукнул беркут своим горбатым клювом по сухой ветке, стукнул еще раз и приказал серой кукушке:

— Позови глухаря, пусть поторопится.

Полетела кукушка в лесную чащобу.

Глухарь, оказывается, здесь — на кедре он сидит, орехи из шишек лущит.

— Уважаемый глухарь, — сказала серая кукушка, — все птицы в теплые края собрались. Уже семь дней вас одного дожидаемся.

— Ну, ну, всполошились! — проскрипел глухарь. — В теплые земли лететь еще не к спеху. Сколько здесь в лесу орехов, ягод... Неужто все мышам и белкам оставить?

Вернулась кукушка:

— Глухарь орехи щелкает, лететь на юг, говорит он, не к спеху.

Послал тогда беркут проворную трясогузку.

Прибежала трясогузка:

— Скорее, глухарь, скорее!

— Очень ты скорая. Перед дальней дорогой надо маленько подкрепиться.

Трясогузка хвостиком потрясла, побегала, побегала, глухаря покликала, да и улетела.

— Великий беркут, глухарь перед дальней дорогой хочет сил набрать, подкрепиться.

Разгневался беркут и повелел птицам немедля в теплые края лететь.

А жадный глухарь еще семь дней орехи из кедровых шишек выбирал, на восьмой вздохнул, клюв о перья почистил:

— Ох, не хватит у меня сил все это съесть Жалко такое добро покидать, да что поделаешь...

И, тяжело хлопая крыльями, полетел на лесную опушку. «Что такое?»

Птиц не видно, голосов не слышно.

Опустела золотая поляна, даже вечнозеленые кедры оголились. Это птицы, когда здесь семь дней, семь ночей глухаря ждали, хвою склевали, земля вокруг кедров от птичьего помета побелела.

Горько заплакал, заскрипел глухарь:

— Без меня, без меня птицы в теплые края улетели... Как теперь буду я один зимова-а-ать?

Так он долго плакал, что от слез даже брови покраснели. С той поры и до наших дней дети, и внуки, и правнуки глухаря, эту историю вспоминая, горько плачут. И у всех глухарей брови, как рябина, красные.

ДОБРАЯ КЕДРОВКА

К осени бурый медведь толстый, ленивый стал, шерсть у него, как маслом намазанная, лоснится. Он по лесу не спеша ходит, через тонкие колоды переступает, а увидит бревно потолще — в обход идет, ему лень шагнуть повыше.

Посреди лесной поляны стоял могучий кедр. Шишки на том кедре тяжелые, спелые, от их тяжести ветки к земле гнутся.

Медведь губы языком облизал, вздохнул даже:

«Ох и сладки, должно быть, в этих шишках орехи...»

Но лапу поднять ему лень.

Вдруг — хлоп — шишка! Стукнула медведя по темени, упала к ногам.

Поднял ее медведь, выбрал орехи, съел. Снова вверх глянул, не упадет ли оттуда еще, и увидел рябую птичку, кедровку.

— Ой, великий медведь! — пискнула птичка. — Я вам лучшую шишку сбросила...

Перья у кедровки взъерошились, голос дрожит.

Она сидела на ветке, нечаянно уронила шишку, шишка стукнула медведя.

Испугалась кедровка, даже взлететь не посмела, не шевелясь сидит.

— Почтеннейший, уважаемый медведь! Я для вас эту шишку все лето от птиц и зверей берегла. Могу еще десять шишек сбросить, если пожелаете...

— О-о, вот гостеприимная, вот добрая птица...

От этой похвалы кедровка совсем счастливая стала.

А медведь орехами хрустит да приговаривает:

— Мы с тобой теперь на веки вечные друзья. Если хочешь, можешь дядей меня называть. Только, пожалуйста, потрудись для меня, старика, еще, как обещала, шишек посшибай, да тех, что потяжелее...

Кедровка голову набок склонила, одним глазом на медведя глянула — ничуть, оказывается, не страшно — и молвила:

— Милый дядя медведь, вы только взгляните на меня! Много ли я своим клювом шишек для вас сшибу? Вот если бы вы и сами немного постарались...

— Это можно бы, можно было бы ветки потрясти, да шишки-то покатятся по всей поляне, где уж мне, старику, их собрать.

— Э-э-э, дядюшка! Были бы шишки, а сборщики найдутся. Для нас, кедровок, эта работа привычная. Только мне за вами не поспеть, не управиться одной. Если позволите, я родню свою позову.

— Зови.

Кедровка взлетела на вершину лиственницы, раза два крикнула, и все ее родные, все знакомые слетелись на поляну.

Вот принялся медведь ветки трясти, шишки сбивать: всеми четырьмя лапами работает, головой помогает. Когда на кедре не осталось ни одной шишки, медведь сел отдохнуть. Смотрит — на поляне ни птиц, ни шишек. Лишь одна недозрелая под кедром валяется.

И к этой последней добрая кедровка не постыдилась подлететь.

Схватила и унесла.

Рассердился медведь, хотел беркуту на кедровку пожаловаться, да стыдно ведь признаться, что такая маленькая пичужка такого могучего зверя обидела.

— Ладно, — махнул лапой медведь, — ешьте эти орехи, ешьте! Сколько бы ни съели, все равно останетесь такими же малыми пичужками. А я сейчас вот какой толстый, а к зиме еще толще буду.

ПОЧЕМУ У ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ НОГИ ОТСОХЛИ

Теперь летучая мышь только ночами летает. А было время — она летала и днем.

Вот летит она, и вдруг навстречу серый ястреб.

— Однако, — говорит, — почтенная, я тебя три года разыскиваю.

— Для чего же я вам понадобилась?

— Все птицы свою дань беркуту уплатили, ты одна все еще в долгу.

— Я?! Да вы поглядите, разве я птица? — спустилась в траву, посмеялась, зубы показала и побежала.

«В самом деле, — подумал ястреб, — это зверь».

Прибежала летучая мышь к холмам, где мелкий лес стоит, но вдруг из-под куста выскочила серебряная лиса:

— Как живешь, уважаемая? Я седьмой год тебя ищу.

— Для чего же я вам понадобилась?

— Все звери свою подать медведю уплатили, только с одной тебя еще причитается.

— С меня?! Да вы посмотрите, разве я зверь?

Расправила крылья и улетела.

С того времени, боясь с лисой повстречаться, летучая мышь совсем бегать перестала: у нее от страха ноги отсохли. И летать днем она тоже не смеет, — ястреба опасается.

Так и живет теперь в сумерках, в страхе от зверей отреклась, к птицам не пристала.

ЖЕНА ПАВЛИНА

Однажды выбрали птицы павлина зайсаном.

Павлин широко раскрыл свой сияющий хвост, высоко поднял голову в зеленой шапке с золотыми кистями.

— Зайсан, настоящий зайсан! — закричали птицы.

— Женить, женить, женить надо. Женить его надо, женить! — застрекотала сорока.

Вот привели к зайсану серенькую куропаточку:

— Она своих детей славно растит, и твоим детям будет доброй матерью.

— Нет, не хочу ее. Куропатка плохо летает.

— Ну синицу возьми. Она первая в лесу запевает весеннюю песенку.

— Не хочу. Она ростом мала.

Кедровка не понравилась — она рябая. Иволга не подошла — голос у нее печальный, трясогузка — хвостом трясет.

Только сорока пришлась павлину по душе: на ней шуба с белой оторочкой — на нее не налюбуешься. Она трещит-болтает целый день — с ней не соскучишься.

После свадьбы павлин выщипал из своей груди зеленые перья и положил их сороке на спину и на хвост.

— Это тебе, любимая жена, от меня подарок.

Обрадовалась сорока:

— Эй, птицы-цы-цы-цы! Полюбуйтесь, какая у зайсана жена красавица-ца-ца!

Летит, новыми перьями хвалится, сидит — зеленые перья клювом перебирает.

Костер разжечь ей недосуг, пищу сварить ей некогда. Утром чуть свет выскочит из гнезда и пропадает до ночи.

— Куда летишь, милая жена? — спрашивает павлин.

— Лечу, куда хочу-чу-чу!

К ночи возвращается, а павлин опять:

— Где ты была, родная сорока?

— Куда душа желала, туда я и летала.

Рассердился павлин. Еще затемно, пока сорока спала, он слетел с ветки, спрятался за кустом акации.

Утром, едва край неба побелел, сорока выскочила из гнезда, распахнула черную шубу со светлой оторочкой и полетела, сверкая зелеными перьями.

Павлин, таясь от нее, пустился следом. Так прилетел он к жилью человека и увидал, что его нарядная жена опустилась на мусорную кучу и стала клевать отбросы.

— Стыдись! — крикнул павлин. — Пристало ли жене зайсана клевать отбросы? Сейчас же лети домой.

Но сорока даже не обернулась: клюет и клюет.

Подлетел к ней павлин, стукнул клювом по голове:

— Больше ты не жена мне!

С тех пор сорока, роясь в отбросах, головой вертит и детей своих поучает:

— Один раз клюнь, а пятый раз оглянись — не то павлин прилетит, по голове стукнет.

Крепко помнят эту науку сорочьи дети. Клюнут раз и обернутся, клюнут и вокруг поглядят — павлина они опасаются. Однако с перьями зелеными, что павлин подарил, не расстаются.

— Это нам от павлина на память осталось. Мы, сороки, как-никак, а все же самому павлину родня. Мы не простого, мы княжеского рода!

КОНЬ, КОРОВА И БЕЛЫЙ ЛОСЬ

Давным-давно на светлом Алтае жил золотисто-гнедой конь и жила рыжая корова. Конь всегда вежливый, ласковый, отвечал нежным ржанием, когда слышал свое имя. Корова была сердитая, грубо мычала, даже когда ее поглаживали.

Вот однажды, пощипывая мелкую сладкую траву на подоле горы, конь и корова поднимались все выше, уходили все дальше от родного пастбища, от прохладной реки. А солнце светило все ярче, грело все жарче.

— Мммм-у-у, — замычала корова, вытянув шею, — ммм-у-учит меня жажда, мммм-у-у-у...

— Давай поднимемся на вершину горы к Белому Лосю, хранителю родников-источников, — сказал конь. — Белый Лось укажет нам, где следует утолить жажду там, наверху, чтобы не замутить воду для тех, кто живет внизу.

Корова, сдва дослушав, нетерпеливо мыча, разбрасывая своими раздвоенными копытами землю, рванулась в горы. Конь ни следовать за ней, ни обогнать ее не решился.

Опасаясь, что корова, увидав его, еще больше поспешит и впопыхах сорвется с каменной россыпи, конь повернулся и пошел в обход, дальнею дорогой.

Белый Лось стоял на вершине синей горы. На его могучих рогах шестьдесят отростков. Его золотая шерсть

светилась подобно солнцу, его серебряная шерсть блестела подобно луне. Его лунно-солнечная шерсть искрилась, сверкала.

Тяжело дыша, корова налившимися кровью глазами уставилась на Лося:

— Эй ты! Взобравшийся так высоко, пусть мечная пуля тебе сердце прошьет. Ты! Голову задравший так гордо, пусть рога тебе в спину воткнутся. Если ты тот самый Лось, о котором говорят, будто он охраняет родники-источники, дай воды!

— Если ты та самая корова, у которой голова приплюснута, будто кто обухом топора по лбу ударил, то оглянись, вода рядом.

Корова скосила глаза и увидала озеро. Через озеро с одного берега на другой отара овец мелким бродом прошла. Овцы воду взбаламутили, навозом загрязнили.

Не подождав, пока муть осядет, корова всеми четырьмя копытами ткнулась в воду, опустила голову — втянула в себя половину озера, вылезла на берег и, не оглянувшись, не поблагодарив, пошла, колыхаясь и покачиваясь, вниз под гору, на свое пастбище.

Теперь Лось увидел коня.

Золотисто-гнедой, он шагал, обходя молодую поросль, бежал, спелую траву не затаптывая, мчался, синие цветы не ломая.

Поднявшись к Белому Лосю, конь коснулся гривой земли и сказал:

— Как вы прекрасны, когда здесь, на вершине горы, стоите и, подняв голову, родники-источники охраняете.

— Благородный конь, какая у тебя ко мне просьба?

— О Великий Лось! Далеко я ушел от родного пастбища, от прохладной реки. Словами не рассказать, как пить хочется. Где будет дозволено мне воды глотнуть?

— Следуй за мной.

И они пошли туда, откуда луна всходит. Конь глотнул там воды, мерцающей, как белое серебро. Они пошли туда, откуда солнце встает, и конь глотнул воды, отсвечивающей чистым золотом.

В народе говорят, что с тех самых пор коровы и мутную воду пить не откажутся и помоями не побрезгают.

Но благородные кони утоляют жажду лишь чистой светлой водой.

ОБИДА МАРАЛА

Прибежала красная лиса с зеленых холмов в черный лес. Она в лесу себе норы еще не вырыла, а новости лесные ей уже известны: стал медведь стар.

И пошла лиса на весь лес причитать:

— Ай-яй-яй, горе-беда! Наш старейшина, бурый медведь, умирает. Его золотистая шуба поблекла, острые зубы притупились, в лапах силы былой нет. Скорее, скорей давайте соберемся, подумаем: кто в нашем лесу всех умнее, всех краше, кому хвалу споем, кого на медведево место посадим.

Где девять рек соединились, у подножия девяти гор, над быстрым ключом мохнатый кедр стоит. Под этим кедром собрались звери. Друг другу шубы свои кажут, умом, силой, красой похваляются.

Старик медведь тоже сюда пришел:

— Что шумите? О чем спорите?

Притихли звери, а лиса острую морду подняла и заверещала:

— Ах, почтенный медведь, нестареющим, крепким будьте, сто лет живите! Мы тут спорим-ссоримся, а дела решить без вас не можем: кто достойнее, кто красивее всех?

— Всяк по-своему хорош, — проворчал старик.

— Ах, мудрейший, все же мы хотим ваше слово услышать. На кого укажете, тому хвалу споем, на почетное место посадим.

А сама свой красный хвост распушила, золотую шерсть языком охорашивает, белую грудку приглаживает.

И тут звери вдруг увидели бегущего вдали марала: ногами он вершины гор попирал, ветвистые рога по дну неба след вели.

Лиса еще рта закрыть не успела, а марал уже здесь. Не вспотела от быстрого бега его гладкая шерсть, не заходили чаще его тонкие ребра, не вскипела в тугих жилах теплая кровь. Сердце спокойно, ровно бьется, тихо сияют большие глаза. Розовым языком коричневую губу чешет, зубы белеют, смеются.

Медленно встал старый медведь, лапу к маралу протянул:

— Вот кто всех краше!

От зависти лиса за хвост себя укусила и заверещала:

— Хорошо ли живете, благородный марал? Видно, ослабели ваши стройные ноги! Ничтожные белки опередили вас, кривоногая росомаха давно уже здесь, даже медлительный барсук и тот успел сюда раньше вас прийти.

Поднял марал свою ветвисторогую голову, колыхнулась его мохнатая грудь, и зазвенел голос, как тростниковая свирель:

— Уважаемая лиса! Белки на этом кедре живут, росомаха на соседнем дереве спала, у барсука нора здесь, под этим холмом. А я девять долин миновал, девять рек переплыл, через девять гор перевалил...

Опустил голову марал — уши его подобны лепесткам цветов. Рога, тонким ворсом одетые, прозрачны, словно майским медом налиты.

— О чем, лиса, ты хлопочешь? — рассердился медведь. — Сама, что ли, старейшиной стать задумала?

Отшвырнул он лису, глянул на марала и молвил:

— Прошу вас, благородный марал, займите почетное место.

А лиса уже опять здесь:

— О-ха-ха! Бурого марала старейшиной выбрать хотят, петь хвалу ему собираются. Ха-ха-ха! Сейчас-то он красив, а посмотрите на него зимой — голова безрогая, шея тонкая, шерсть висит клочьями, сам от ветра шатается.

Марал в ответ слов не нашел. Звери тоже молчат. Даже медведь не вспомнил, что каждую весну отрастают у марала новые рога, каждый год прибавляется на рогах по новой ветке, и год от года рога ветвистее, а марал чем старше, тем прекраснее.

От горькой обиды упали из глаз марала жгучие слезы, прожгли они щеки до костей, и кости погнулись.

Погляди, и сейчас темнеют у него под глазами глубокие впадины. Но глаза от этого еще краше стали, и красоте марала не только звери, но и люди славу поют.

ДЕТИ ЗВЕРЯ МААНЫ

В стародавние времена жила на Алтае чудо-зверь Мааны. Была она, как столетний кедр, большая. По горам ходила, в долины спускалась — нигде похожего на себя зверя не нашла. И уже начала понемногу стареть.

«Я умру, и никто на земле меня не вспомнит, — печалилась Мааны. — Забудут все, что жила когда-то большая Мааны...»

Молилась она духам земли и воды — йер-су, духам ледников — езим-тайка. Великому Алтаю кланялась:

— Прошу, пусть хотя бы один детеныш вышел бы из моей утробы, пусть будет ростом хоть со сеноставку...

Мало ли, много ли времени прошло, но видно, услышана была ее просьба. Понесла Мааны и родила сына.

— Расти, расти, малыш! — запела Мааны. — Расти, расти...

Он подрос немного, но так и остался мелким зверем, однако петь-мурлыкать от матери Мааны научился. Был это кот, оказывается.

Второй сын — барсук — вырос крупнее кота, но ростом далеко ему было до большой Мааны, да и нравом был на нее не похож.

Днем из дома никуда не выходил, ночами по лесу, тяжело ступая, бродил. Шагал, головы не поднимая, на звезды, на луну не взглядывал.

Третья — росомаха — любила висеть на ветвях деревьев.

Однажды сорвалась с ветки, упала на лапы, и лапы у нее скривились.

Четвертая — рысь — была хороша собой, но так пуглива, что и спящая вздрагивала, поднимала чуткие уши. На кончиках ушей у нее торчали кисточки.

Пятым родился ирбис — барс. Этот был светлоглаз и отважен. Охотился высоко в горах, с камня на камень легко, будто птица, перелетал.

Шестой — тигр, подстерегая добычу, мог от восхода до заката лежать неподвижно. Он голосом умел вторить весеннему ветру и подражать призывному крику оленей. Он был силен, но хитер и даже от матери таил свою силу.

Седьмой — лев — ходил, потрясая гривой, громко рыча. От его голоса содрогались деревья и рушились скалы.

Глядя на своих детей, Мааны думала:

«Семерых я родила! Ничего теперь мне не страшно».

Даже человека Мааны, когда увидит, не боится. Приляжет она и смеется:

«Когда у меня семеро детей, что может мне человек сделать?»

Однажды, ласково на всех семерых поглядев, Мааны сказала:

— Сегодня надо бы найти азык — добычу. Мяса бы нам поесть хорошо было бы.

Старший сын — кот, мурлыча свою песенку, потерся головой о ноги матери и мелкими шагами побежал на охоту. Три дня пропадал. На четвертый принес в зубах азык — малую птаху.

— Этого мне и на один глоток не хватит, — улыбнулась Мааны, — ты сам, дитя, подкрепись немного.

Кот еще три дня своей добычей забавлялся, лишь на четвертый о еде вспомнил.

— Слушай, сынок, — сказала Мааны, — с твоими повадками трудно будет тебе жить в диком лесу. Ступай к человеку.

Только замолчал Мааны, а кота уже и не видно. Навсегда убежал из дикого леса.

А барсук сказал:

— Ну, ребята, я теперь всех вас старше, я пойду.

Увидал лань с теленком, подкрался, протянул лапы, но лань вскочила и ударила барсука по лбу своим копытом.

Разгневалась Мааны:

— Будешь теперь знать, как хватать добычу не по зубам. Вот на лбу у тебя осталась отметина, чтобы ты помнил этот случай, не забывал бы.

Опустил барсук голову, увидел змею, схватил ее и съел.

Эта пища ему понравилась. Похрюкивая, роя землю носом, барсук, утра не дожидаясь, ночью в глубь черного леса побежал. Там, на склоне холма, вырыл себе просторную нору, настелил сухих листьев и стал жить в своем большом доме, никого к себе не приглашая, сам ни к кому в гости не наведываясь.

— Теперь ты иди на охоту, — сказала Мааны росомахе.

Семь дней бродила кривоногая росомаха, на восьмой принесла остатки волчьего ужина.

— Твоего, росомаха, угощения ждать — с голоду умрешь, — молвила Мааны. — За то, что семь дней

пропадала и братьям своим такую плохую еду принесла, пусть потомки твои по семь дней свою добычу выслеживают, пусть никогда они не наедаются досыта.

Росомаха обвила своими кривыми лапами ствол кедра, и с тех пор Мааны никогда не видала ее.

Четвертой пошла рысь. Эта добыла косулю.

— Да будет твоя охота всегда так же удачлива, — обрадовалась Мааны. — Твои глаза зоркие, уши чуткие. Ты хруст сухой ветки слышишь на расстоянии дня пути. Тебе в непроходимой чаще леса хорошо будет жить. Там, в дуплах старых деревьев, ты детей своих будешь растить.

И рысь, неслышно ступая, той же ночью убежала в чащобу старого леса.

Теперь на ирбиса — барса посмотрела Мааны. Еще слова ему сказать не успела, а барс одним прыжком уже вскочил на островершинную скалу, одним ударом лапы повалил горного теке — козла.

Перебросив козла себе на спину, барс на обратном пути поймал быстроногого зайца. С двумя подарками мягко прыгнул он вниз, к жилищу старой Мааны.

— Ну ты, ирбис-сынок, всегда живи на высоких скалах, на недоступных камнях. Живи там, где ходят горные козлы-теке и круторогие бараны — архары.

Взобрался барс на скалы, убежал в горы, поселился между камней.

Куда пошел тигр, Мааны не знала. Добычу он принес ей, какую она не просила. Он положил к ее ногам убитого охотника.

Заплакала, запричитала Мааны:

— Ой, сынок, как жестоко твое сердце, как нерасчетлив твой ум. Ты первый с человеком вражду начал,

твоя шкура полосами его крови теперь на вечные времена покрыта. Уходи жить в тростники, в частый камыш, чтобы никто полос на твоей шкуре не увидел. Живи там, где ни людей, ни скота нет. Питайся в хороший год дикими кабанами и оленями, в плохой — лягушек ешь, но не трогай человека! Если в этих гиблых местах ты первым увидишь его, это твое счастье — беги! Если человек первый тебя заметит, это его счастье — он не остановится, пока не настигнет тебя.

С громким жалобным плачем полосатый тигр в тростники ушел.

Теперь добывать еду пошел седьмой сын — лев. Ночью в лесу он охотиться не захотел, спустился в долину и приволок оттуда убитого всадника и лошадь.

Мааны-мать чуть ум не потеряла.

— Ох-ох! — стонала она, царапая свою голову. — Ох, жаль мне себя, зачем родила я семерых детей! Ты, седьмой, самый свирепый! На моем Алтае не смей жить! Уходи туда, где не бывает зимней стужи, где не знают лютого осеннего ветра. Может быть, жаркое солнце смягчит твое твердое сердце.

Так услала от себя всех своих семерых детей жившая когда-то на Алтае большая Мааны.

И хотя под старость осталась она одинокой, и хотя, говорят, умирая, никого из детей своих позвать не захотела, все же память о ней жива: дети зверя Мааны по всей земле расселились.

Давайте же споем песню о Мааны-матери, сказку о ней всем людям расскажем.

ЛЕСНАЯ СТАРУХА

Там, где светлый ключ не умолкая щебечет, где молодые лиственницы нежно зеленеют, где две кукушки звонко кукуют, кому долгую жизнь обещая, кому близкую кончину предсказывая, жили в ветхом аиле пожелтевшие, словно дымом прокопченные, старик и старуха.

Детей своих они вырастили, сыновей на дальние кочевья благословили, дочерей замуж выдали, сами вдвоем здесь остались. Ни сундуков с добром, ни табунов, ни рогатого скота у них не было. Все хозяйство — одна безрогая корова.

Старуха с весны в лес уходила, палкой землю ковыряла, корни кандыка и луковицы лилии-саранки в мешок собирала, потом сушила их все лето, а зимой в молоке варила, тем и питались. А старик жил без заботы — трубку курил да кукушек слушал.

Вот однажды он и говорит своей старухе:

— Сегодня кукушки нам близкую смерть накуковали. Давай заколем корову, хоть перед смертью мяса поедим.

Старуха заплакала, руками всплеснула.

— И не стыдно тебе, старик? Столько лет молоком этой коровы мы сыты, а ты что надумал?

Но старик свою старуху не послушал, сделал по-своему.

Рассердилась старуха и ушла, старика покинула.

Шагала по холмам, по долинам, большие реки мелкими бродами переходила, через ручьи мостки перебрасывала. На горные перевалы поднималась, вниз спускалась и пришла в тайгу, где между деревьями на полянах и по склонам гор паслись дикие теке — козлы и бурые маралы.

Старуха ласково зверям улыбнулась, протяжную горловую песню запела, и дикие звери к старухе подошли. Горным диким козлам она руку на спину кладет, пугливых маралов гладит, кабаргу за ушами чешет, со зверями, как с людьми, беседует.

Дикие вольные звери ушами шевелят, слушают, будто речи старухи понимают, спокойными глазами на нее глядят.

И осталась старуха жить в тайге. Топором она поработала, жердей припасла, кору с лиственницы ободрала, поставила себе аил. Диких коз, маралух доила, молоко квасила, творог — арчу отжимала, потом на огне сушила, в дыму коптила — твердый вкусный сыр — курут ела. Хорошо, славно жила старуха, кожа на лице у нее стала гладкая. Однако старика своего она не забыла.

«Жив он или умер? Может, голодный, холодный в аиле своем один сидит».

Вот положила она арчу в мешок, да еще масла в пузырь налила, нанизала две связки курута, взяла деревянный костыль и пошла навестить старика.

Когда к своему старому аилу подошла, заплакала, больно ветхим стал аил. Вытерла слезы. Заглянула в щелку и увидела: черный, худой старик сидит у потухшего костра и бормочет:

— От голода я совсем оглох, не слыхал, что кукушки мне кукуют, жизнь обещают или о смерти говорят. Вот сейчас съем последний кусок и лягу умирать.

Сквозь слезы улыбнулась старуха, взяла пузырь с маслом и кинула его в дымоход. А сама опять смотрит в щелку.

Старик поднял с земли пузырь, поел масла, повеселел:

— Должно быть, кукушки добро мне обещали, надо шапку снять, послушать.

Снял шапку, и ему прямо на голову мешок с арчой упал.

— О-о, спасибо, мои кукушки, — обрадовался старик, творогу поел и совсем ободрился.

А тут вдруг еще и две связки курута упали к его ногам.

— О-о, милые мои кукушки! Будьте вы всегда сытые, будьте, как овцы, жирные, спасибо вам!

Старуха громко засмеялась и вошла в аил:

— Ну, как ты тут поживаешь, мой богатырь?

— Хорошо живу! Когда еды не стало, мне кукушки накуковали масла, арчи-творогу и курута.

— Эх ты, кукушкам молился! Не кукушки это, а я своими руками тебе пищу припасла, сюда принести не поленилась.

— Спасибо, спасибо! Теперь я не расстанусь с вами, моя старуха. Куда вы пойдете, туда и я тоже. Не бросайте меня...

Пожалела старуха своего черного старика.

— Ладно, — говорит, — возьму тебя к себе, только поклянись, что будешь всегда меня слушаться.

— Солнцем клянусь, что скажете, исполню, спорить не посмею.

Долго ли, коротко ли, пришли наконец к старухиному аилу. Прибежали звери, языком шубу старухи вычистили, боками об аил потерлись.

— Слушай, старик, — молвила старуха, — никогда в этой тайге не ставь на зверей капкана, стрелой в зверей не смей целиться, копья в руки не бери.

И стали жить в тайге. Старуха кандык собирала, диких коз, маралух доила, молоко квасила, пищу готовила.

Вот однажды, когда старуха взяла два ведра и пошла диких зверей доить, старик срезал ветку, завязал концы, получился у него лук. Выстрогал старик и стрелу. Взял этот лук со стрелой и пошел дичи поискать, пострелять.

На вершине кедра сидел черный ворон, величиной с теленка. Прицелился старик и метко, как молодой, стрелу пустил. Попала стрела ворону в грудь, но ворон так и остался сидеть невредим. Вынул клювом стрелу, переломил ее, бросил, сказал «карр-карр» и улетел. Отозвались ворону маралы и козлы, кабарга и дзерены, и побежали все звери.

Шла старуха с полными подойниками молока. Увидала убегающих зверей, закричала:

— Вернитесь, вернитесь!

Долго кричала, молоком вслед брызгала, плакала, а потом и подойники вдогонку швырнула. Но звери не вернулись. Упала старуха лицом вниз, заплакала, слезами своими землю оросила. Где старуха плакала — живой родник из земли пробился.

От молока, которое старуха плеснула зверям вслед, осталось у маралов, диких козлов и дзеренов вокруг хвоста белое пятно.

А старика ни люди, ни звери больше никогда не видели, о нем ничего мы не слышали.

СЧАСТЛИВЫЙ

На солнечной стороне островершинной горы на берегу молочного озера жил мальчик. Ростом он был с козленка. Из двух беличьих шкурок сшил он себе шапку. Ноги обул в сапожки из кожи марала. Лицо у мальчика было, как луна, круглое, и он никогда не плакал.

Язык птиц и зверей мальчик хорошо понимал, пчел и кузнечиков внимательно слушал. Дунет мальчик в сухой стебель — стебелек поет, тронет пальцем паутинку — она звенит.

Вот однажды верхом на белом коне ехал по берегу молочного озера Ак-каан. Услыхал нежный звон.

— Что такое?

Перегнулся через седло, черенком плети раздвинул кусты и увидел круглолицего мальчика. Он сидел на корточках, дул в сухой стебель болдыргана-цветка, и стебель в ответ, будто зов марала весной, серебристо звенел.

— Как зовут тебя, дитя?

— Мое имя Ырысту — Счастливый.

— Кто твои родители? Кто кормит, кто поит тебя?

— Мой отец — гора, мать — озеро. Гора меня кормит, озеро поит.

— Хочешь быть моим сыном, милый Ырысту? Я сошью тебе теплую шубу, вкусной пищей стану кормить, подарю проворного коня. Садись позади моего седла, и мы поскачем в мой белый шатер.

Ырысту прыгнул на круп белого коня, обеими руками ухватился за пояс Ак-каана, и помчался конь к белому шатру.

Дети Ак-каана, сын Кёз-кичинек и дочь Кара-чач, услыхали топот копыт, выбежали из белого шатра — первыми отца встретить, первыми подарки получить.

Когда Ак-каан спешился, дети низко ему поклонились:

— Почтенный родитель, счастливой охоты мы вам желали, у тринебесного Курбустана богатой добычи просили, семинебесному Ульгеню молились. Какой подарок вы привезли нам, спросить не смеем.

Ак-каан схватил Ырысту за воротник, стащил с коня и поставил на землю.

— Вот моя добыча. Этот маленький раб красивые песни на дудке играет.

Но Ырысту играть на дудке не захотел. Он от обиды слова вымолвить не мог.

— Не хочешь на дудке играть? — рассердился Ак-каан. — Будешь тогда мой белый скот пасти.

Все лето Ырысту перегонял стада с пастбища на пастбище, туда, где трава слаще, где вода чище. Осенью снег и дождь его не жалели. Ветер дул. К зиме сапожки его скоробились, кафтанчик присох к плечам. Глаза научились плакать, рот стал жалобные песни петь. Но никто слез ему не отер, никто плача его не услышал. Однажды споткнулся Ырысту, упал, а подняться не может, устал. И сам не заметил, как уснул. Подошел к нему во сне сморщенный, как гнилой гриб, старичок:

— Ты, сынок, когда на островершинной горе у молочного озера жил, не умел плакать, не знал тоскливых песен. О чем ты стонешь так горько теперь?

— Мои ноги болят. Мои руки потрескались, мой живот озяб. Не могу я один неисчислимое стадо пасти.

Старичок погладил свой костыль, почесал бороденку, глаза его совсем узкими стали.

— Ты, сынок, когда захочешь отдохнуть, скажи коровам: «Пып!» Побегать захочешь, скажи коровам: «Тап-тажлан!»

Ырысту открыл глаза и увидел жаркое солнце над головой.

— М-м-ооо... — мычали коровы и брели в разные стороны.

— Пып! — приказал Ырысту.

Коровы где ходили, там и легли.

— Тап-тажлан!

Коровы поднялись и заплясали на лугу.

Увидел это Ак-каан, схватил малыша за воротник, потащил в свой белый аил.

В аиле на сундуке, покрытом медвежьей шкурой, сидела любимая жена Ак-каана. Лицо у нее как смазанная салом лепешка, кожа на шее, никогда не мытой, почернела, как кора на старом пне.

— Негодный Ырысту! — будто коза заблеяла, она закричала. — На дудке играть не хочешь, коров пасти не желаешь. Вот тебе палка-мутовка, становись к чану, будешь теперь масло сбивать.

Руки мальчика отдыха не знали, глаза не смели уснуть.

Семья Ак-каана, гости, даже собаки ели лепешки с маслом, а малыш Ырысту и сухой лепешки не видал.

Дети Ак-каана — сынок Кёз-кичинек и дочь Карачач — всегда пищали, будто слепые щенята, из-за каждого куска дрались. Игрушек тоже поделить не могли.

Смотрит на них Ырысту, смешно ему, он засмеялся.

— Это ты так работаешь? — рассердилась жена Ак-каана. — Сейчас возьму нож, твою голову рассеку! Пику возьму, сердце проколю!

А девочка увидела у своего брата в руках козлиные бабки и кинулась отнимать. Мальчик крепко держал кости и мычал, девочка царапалась и визжала.

— Дети мои, дети мои, — причитала жена Ак-каана, — милые вы мои, не плачьте, успокойтесь.

— Пып! — прошептал Ырысту, и руки девочки прилипли к голове брата.

— Что с вами, дети мои? — запричитала мать, обнимая сына и дочь. — Лучше бы этот мальчишка прилип к своей палке-мутовке.

— Пып! — повторил Ырысту.

И жена Ак-каана прилипла к своим детям.

Вошел Ак-каан:

— Почему костер не горит, почему суп в котле не кипит?

Поднял руку и хлопнул свою жену по плечу. Но Ырысту сказал «Пып», и рука Ак-каана прилипла к плечу жены.

А счастливый Ырысту швырнул подальше палку-мутовку, срезал сухой стебелек и заиграл-запел, запел, как порхающая в небе птица.

Слушая эту песенку, Ак-каан дрожал, как мышь, зажатая в кулак. Его жена стонала, как лягушка. Дети тихо плакали.

Но как только кончил Ырысту свою песенку, как только опустил свою дудочку, Ак-каан опомнился, загремел:

— Ты, безродный нищий мальчишка! Беги, позови мудрейших камов, пусть меня вылечат.

Ырысту привел почтенных камов со всех близких и далеких стойбищ. Много скота порезали для угощения камов рабы Ак-каана, много трубок лучшего табака камы выкурили, араки выпили, но помочь не смогли. И в бубны стучали, и священные песни пели, лошадей из табунов Ак-каана в жертву приносили — ничего не помогло. Как стояли друг к другу приклеенные, так и стоят.

Молча качая головой и отрыгивая жирную пищу, сидели камы у костра. Наконец самый старый, трухлявый, как старый пень, старик произнес:

— Там, где земля с небом сливается, живет великий Телдекпей-кам. Если он вас не вылечит, то никто на земле, великий Ак-каан, вам не сумеет помочь.

Ырысту побежал за Телдекпей-камом.

Великий кам на синем быке приехал, спешился, сплюнул, не раскрывая рта, сквозь зубы, и сел на землю у костра.

— Такую болезнь если не вылечу, где же тогда моя слава? — важно сказал.

Откашлялся, достал из-за пояса огниво, высек искру, разжег трубку.

— Не успею еще этой трубки выкурить, как все будут здоровы.

Но тут малыш Ырысту поклонился великому каму:

— Вы такой почтенный человек, почему рядом со всеми на земле сидите? Лучше сядьте повыше, на вот этот теплый камень.

Кам Телдекпей медленно встал и важно уселся на камень, согретый солнцем.

— Пып! — тихо сказал Ырысту.

Телдекпей-кам все еще важно медленно курил свою длинную трубку. Дым сначала заглатывал, потом из носа кольцами выпускал.

Народ на него не дыша смотрит.

— Трубку докурю, и ты, Ак-каан, здоров, счастлив будешь.

Однако выкурил он и вторую и третью трубку, но Ак-каан, и его жена, и дети оставались прилипшими друг к другу.

— Придется немного в бубен постучать, — густым басом сказал великий кам.

Поднялся и вместе с ним оторвался от земли и повис на нем белый камень. Телдекпей-кам снова сел. Стыдно было стоять с камнем пониже спины.

Глаза старика чуть не выползли из век.

— Что за камень, на который ты усадил меня, Ырысту?

— Камень с горы. Поклонитесь хозяину гор.

Великий кам припал лбом к земле.

— Пып! — крикнул Ырысту.

И люди увидели, что кам не может оторвать зада от камня, а головы от земли.

— А-а, это твои проделки, гадкий мальчишка? — прохрипел Ак-каан.

Ырысту поднял вверх правую руку. Его луноподобное лицо заалело:

— Тап-тажлан! — сказал он, и семья хана покатилась в разные стороны, может быть, и теперь еще где-то они кувыркаются.

Но Телдекпей-кам позора такого испытать не захотел. Не встал с камня, не поднял головы, так и остал-

ся сидеть, пока не окаменел. И сейчас еще сидит он на Алтае горбатой горой — Телдекпей.

А счастливый Ырысту шагнул через золотой порог, на золотой помост Ак-каана сел. Посидел-посидел, кругом поглядел — белый войлок шатра туго натянут на прочные жерди. Небо только через дымоходное отверстие увидеть можно — маленький клочок, величиной с ладонь.

Крикнул Ырысту самому себе:

— Тап-тажлан!

Золотой помост подпрыгнул, и счастливый малыш слетел вниз и побежал к молочному озеру, к островершинной горе. Из озера ладонью воды зачерпнул, попил, на горе шалаш себе поставил. В том шалаше он и поныне живет. Поет свои счастливые песни, дудит в дудочки, перебирает пальцами паутинные нити, и в ответ паутинки тихим звоном звенят.

КЫПТУ-ТОРКО

В голубой долине между двух белых сопок жили старик со старухой. И была у них дочь — румяная, будто маральник весной, глаза как две ягоды, брови бархатно-черные. На ней всегда семь шелковых халатов — белый, лиловый, красный, синий, голубой, зеленый, желтый. Так и шелестят, стелются за нею разноцветными слоями. И прозвали ее Кыпту-Торко — многослойный шелк.

Она по воду не ходит:

— Халат намокнет.

Она хвороста для очага не собирает:

— Халат в лесу за сук зацепится, порвется.

Она корову не доит:

— Халат запачкается.

Посватался к ней молодой охотник:

— Нет, нет, нет! Не хочу в тайге жить.

Пастух посватался:

— Нет, нет, нет! Не хочу по пастбищам следом за скотом кочевать.

Пришел табунщик, привел за собой сто табунов:

— Нет! Не пойду за него, не хочу кобыл доить.

Рассердились старики на свою дочь:

— Теперь, если даже Черный Овод Кара-Маас посватается, тебя ему отдам, — сказал отец. — Так долго выбираешь, что, пожалуй, даже Овод взять тебя не захочет.

Но Черный Овод — Кара-Маас — уже у порога стоит.

Вышла из своего девичьего аила Кыпту-Торко, на ней семь шелковых халатов — белый, лиловый, красный, синий, голубой, зеленый, желтый.

— Кыпту-Торко, — говорит ей Кара-Маас, — надень шубу, замерзнешь.

— Мне в моих семи шелковых халатах теплее, чем вам в худой вашей шубе. — И вскочила на своего молочно-белого коня.

Кара-Маас на своего пегашку мохноногого сел, тронул повод, и конь-старик, медленно тяжелыми ногами переступая, поплелся вперед.

Кара-Маас сказал:

Кто первый коня поторопит — тому холоднее, кто позади поедет — тому теплее.

Кыпту-Торко своего молочно-белого сдерживает, позади пегашки он идет.

А ветер встречный с ледяной вершины Белухи-горы дует-задувает, пробирает до костей.

Возьми себе мою худую шубу, Кыпту-Торко, — Черный Овод говорит.

Нет, нет! Не нужна мне ваша грязная овчина.

Поехали дальше. А снег глаза слепит, за ворот сыплется.

Не наденешь ли мою грязную овчину, Кыпту-Торко?

Кыпту-Торко руки раскинула, рукавами махнула белый, лиловый, синий, красный, голубой, зеленый, желтый:

— Полюбуйтесь, как мне тепло!

А у самой от холода в кровь треснули губы. Подня-

лись на подол горы, и слезы закапали из глаз Кыпту-Торко, замерзают слезы на ветру, инеем садятся на шелковый рукав.

— Сколько шелковых халатов за мою овчину дала бы? — смеется Черный Овод.

Но ответа не услышал, обернуться не захотел.

Стучит копытами по камням старый пегашка, белосоловый конь следом цокает. Вот оно, черное стойбище.

Вышел народ, Кара-Мааса встречают, спрашивают:

— Где Кыпту-Торко?

Обернулся Овод, а Кыпту-Торко нет. Молочно-белый конь с пустым седлом стоит.

Поспешили люди по следу. И вот на каменной россыпи увидали красавицу Кыпту-Торко. Лежит она в разноцветных халатах пестрым камнем. Хвалилась, хвалилась и стала камнем, холодным камнем на подоле горы. Назвали люди этот пестрый камень Мактанчик-таш — Хвастливый. Ну вот, надо было мерзнуть, чтобы стать камнем, пестрым камнем Мактанчик[1].

---

[1] Мактанчик-таш — яшма.

ЛИСА-СВАХА

На лесистой горе спала красная лиса. Много ли, мало ли спала — не помнит. Проснулась, ушами повела, потянулась:

— Ой-ой, как я голодна-а... Пустой живот к ребрам присох...

От голода позабыла страх и побежала на опушку леса, где стоял ветхий аил.

«Около человека всегда есть чем поживиться, — говорила себе лиса. Курица ли, ремень ли, кость или копыто — мне все равно, лишь бы погрызть».

Однако не только курицы или ремня, но ни кости, ни даже копыта не нашла.

«Видно, жилье это люди давным-давно покинули, подумала лиса. — А может, они там что оставили? Кисет ли кожаный или хоть замаслённый лоскуток».

Сунула морду в щель, да так и осталась стоять-смотреть.

«Что случилось? Почему костер седым пеплом покрыт? Отчего человек неподвижно у потухшего очага лежит, положив под голову обгорелую плаху? Жив он или умер?»

Вскочила лиса в аил, дернула лежащего за ухо, тот открыл глаза — они на утренние звезды были похожи.

«Ух, какой парень! — вздохнула лиса. — Таких я еще не видывала».

- Якши болсын! — тявкнула она. — Будь здоров!

Но ответа не услышала. Лежит красавец и молчит.

Лиса не вытерпела:

— Что, сынок, лежишь ты у остывшей золы? Не слышишь разве, о чем сороки сегодня весь день стрекочут? Великий Караты-каан со всего света женихов приглашает, самому достойному свою дочь, прекрасную Чейнеш, отдаст. Почему ты не идешь во дворец?

— Потому что меня зовут Яланаш — Без рубахи. На мне и в самом деле никогда рубахи не было.

— Что же ты тут делаешь, Яланаш, один в этом холодном аиле?

— Лежу, смерти дожидаюсь. Уже десять дней я ничего не ел.

— Э, да мы с тобой, оказывается, товарищи! Однако вовремя я сюда заглянула. Думаю, породниться тебе с Караты-кааном не худо бы. Ты будешь сыт, и мне, лисе, с твоего стола что-нибудь перепадет.

— Ты еще потешаешься? — рассердился Яланаш. — Но хоть я беден, а смеяться над собой никому не позволю!

Выхватил из-под головы обгорелое полено и швырнул в лису.

Но лиса увернулась, полено задело только левую заднюю лапу.

— Эх, Яланаш, Яланаш, — приговаривала лиса, зализывая ушибленную лапу, — ты еще не женился на дочери каана, а повадки у тебя настоящие ханские. Не сердись понапрасну, я ведь не простая лиса, а лиса-сваха. Уж если взялась, значит, дело будет слажено.

И, прихрамывая, голодная лиса побежала к Караты-каану:

— Якши болсын, великий каан! Яланаш привет вам шлет. Он просит на время ваш большой котел. Нам надо масло туда перелить.

— Ты глупая лиса, — засмеялся Караты-каан, у Яланаша коровы нет и никогда не было, капли молока ему негде взять. Откуда у него может быть столько масла?

— Солнцем клянусь, великий каан, масла у Яланаша так много, что изо всех котлов через край прямо на камни течет. Я поскользнулась, чуть ногу не сломала. Видите? Хромаю теперь...

— Вот он, котел, бери.

С этим котлом обежала лиса все стойбища, все кочевья:

— Подайте немного масла голодной лисе...

Кто ложку масла, кто половину ложки дал. Так, собирая понемногу, наполнила котел и притащила Яланашу:

— Низко кланяется тебе непобедимый Караты-каан, просит подарок принять.

Съел голодный Яланаш сколько мог, еще немного лиса ему в пустую чочойку положила, остальное, что было в котле, понесла Караты-каану.

Заглянул Караты-каан в котел и так долго смотрел, будто луну там увидел:

— Кхе... Кха-а... Как Яланаш разбогате-е-л...

— Да, немного денег есть у нас, — молвила лиса, — что тут таить? Яланаш просит у вас весы на время. Мы хотим наши деньги взвесить.

— Глупая лиса, разве не может Яланаш свои деньги сосчитать?

— Ох, великий каан! Мы уже пять дней, пять ночей считаем. От этого счета ум из моей головы выскочил. Сам Яланаш тоже без ума сидит.

Караты-каан хотел над лисой посмеяться — улыбка кривая получилась, смех в горле застрял.

— Хорошо, — сказал каан, — бери весы. Интересно, сколько пудов денег у Яланаша — Без рубахи? Хо-хо-ха...

Взяла лиса весы и пошла по стойбищам, по кочевьям гроши собирать.

Гроши сменяла на копейки, копейки на рубли, рубли на десятки — и прибежала к Яланашу.

— Долго ли ты будешь бездельничать? Смотри, вот сколько денег тебе Караты-каан послал. Я не простая лиса. Я лиса-сваха.

Тут Яланаш вскочил:

— Верная ты моя лиса! Что хочешь прикажи, все исполню!

— Ладно, после поговорим, сейчас мне недосуг.

И лиса поплевала на самые ценные монеты, потом хвостом обмахнула, чтобы ярче блестели, прилепила к чашам весов и побежала к Караты-каану.

Увидал монеты Караты-каан, а лиса уже тявкает:

— Оказывается, тут деньги застряли? А мы и не заметили! Денег у нас так много, так много, просто девать некуда...

У Караты-каана пот на лбу выступил.

А лиса встала на задние лапы, через левую переднюю лапу хвост перекинула, правой глаза прикрыла и говорит:

— Ой, великий каан, стыд свой куда спрячу? Но хоть и стыдно, а сказать должна. Я не простая лиса, я лиса-сваха. Яланаш хочет вашу единственную дочь, прекрасную Чейнеш, просить... На красоту его глядя, не смогла ему отказать — вот пришла к вам.

Караты-каан даже посинел от гнева, глаза вытаращил и рявкнул:

— Голову твою сейчас отрублю — к хвосту приставлю, хвост оторву — к шее пришью!

— Прославленный каан! Любую цену назовите. Всю нашу белую землю, весь золотой наш Алтай за красавицу Чейнеш к вашим ногам положим.

— Пусть пригонит мне Яланаш тысячу белых овец, тысячу красных быков, тысячу черных сарлыков, тысячу одногорбых верблюдов, сто собольих шкурок пусть подарит.

— Почему так мало просите? Яланаш может еще больше подарить, он своего скота не считает, соболиным шкуркам давно счет потерял. Выдержит ли мост, когда наши стада перегонять на ваши пастбища будем?

— По этому мосту сам стопудовый, семиголовый Дельбеген на своем синем быке ездит!

— Якши болсын! Будьте здоровы! — сказала в ответ лиса. — Через семь дней наши стада встречайте, до этого срока никого на мост не пускайте.

Каан слова сказать не успел, а лисы уже нет.

Когда убежала — никто не заметил, куда побежала — никто не видел. Бежала лиса, торопилась, на трех ногах к бурной реке скакала. Прибежала, полезла под мост и принялась зубами сваи подтачивать. Семь суток, ни днем ни ночью не отдыхая, работала.

На восьмой день явилась к Яланашу:

— Скорей, скорей к Караты-каану беги! Прекрасная Чейнеш тебя ждет.

— Идти в рваной овчине? Без рубахи?

— Ты только на мост взойди, там на мосту для тебя прекрасная одежда лежит.

А сама вперед побежала, во весь голос заверещала:

— Дорогу! Дорогу верблюдам! Сторонись, народ, быки идут! Эй, выходите овец принимать!..

Яланаш шел и смеялся:

— Откуда у тебя такая прыть, лиса?

Ступил на мост, — кррак! — и мост провалился.

— Ой, ой! — взвыла лиса. — Скот погиб, собольи шкурки пропали... Ой, ой, ничего не жаль, спасите хотя бы Яланаша! Спасите, помогите!..

Богатыри, силачи, алыпы и герои на могучих конях к реке прискакали, в бурную реку вошли, Яланаша вытащили, на берег положили.

Яланаш без рубахи был красивее богатырей в богатых одеждах, прекраснее алыпов, блиставших драгоценными доспехами.

Караты-каан послал Яланашу соболью шапку, шубу, крытую желтым шелком.

Шелковая шуба как солнце горит, из-пол собольей шапки глаза Яланаша тихо сияют. Но подняться он не смеет, на коленях стоит.

Дочь Караты-каана, прекрасная Чейнеш, к Яланашу подошла, за правую руку взяла его, подняться помогла.

Тут стали свадьбу справлять, в игры играть, мясо варить, араку пить.

Один только Яланаш не ест, не пьет.

— О чем печалишься? — дернула его за полу лиса.

— Нет на этом пиру ни отца моего, ни матери, ни семерых мои братьев. Никто из моих родных счастью моему не порадуется.

— Где же они?

Они в горах золото и камень добывали, каану змеиному дворец строили. А как работу кончили, каан змеиный их заглотил. Я один остался, мал еще был, на работу не ходил.

— Кто умер, тот живым не встанет, — вздохнула лиса. — Но дворец тот золотой будет твоим.

Семь дней во дворце Караты-каана свадьбу справляли, на восьмой коней оседлали, поехали к Яланашу.

Лиса вперед выскочила:

— Я дорогу покажу, за мной следом скачите! Едет Караты-каан на белом жеребце с четырьмя ушами, едут его богатыри на вороных конях. На рыжем, как золото, жеребце скачет Яланаш. Прекрасная Чейнеш сидит на буланом иноходце.

— Эй, люди, — кричит лиса, — Караты-каан с неисчислимым войском сюда спешит! Скот колите, собольи шкурки тащите!..

Так кричала, пока не охрипла. Всех гостей мясом накормила, собольими шкурками одарила. Устала бедняга, да отдыхать еще не время. На трех здоровых, на одной хромой лапе вскарабкалась она к золотому дворцу каана змей.

— Эй, змеи! Яланаш с богатырями, алыпами и героями сюда скачет, сейчас вас всех убьет! За отца, за мать, за семерых братьев отомстить хочет.

Змеи выползли из золотых нор, из серебряных щелей:

— Что нам делать? Как спастись?

— Ползите на скошенный луг, спрячьтесь в стоге сена.

Змеи все до одной заползли в стог. Змеиный каан глубже всех зарылся.

Стукнула лиса кремнем по огниву, высекла искру, подожгла сено, стог вспыхнул, ядовитые змеи все до одной сгорели.

Побежала лиса навстречу Яланашу:

— Пожалуйте в ваш золотой дворец! А мне дайте косточку с мясом, если не жалко, и я побегу в лес к своим деткам.

Взяла кость и убежала. Больше эту лису Яланаш не видал.

Якши болсын! Будь здорова, лиса, лиса-сваха!

САРЫ-КААН

Жил на Алтае могучий Сары-каан. Скота у него как муравьев в муравейнике. Сундуки с добром в аиле не умещаются. Стоят один на одном вокруг стойбища. подобно высокому берегу.

А сам этот великий каан горького от сладкого отличить не умел, черное с бурым путал. Имена своих трех жен запомнить не мог.

Вот родилась у старшей жены дочь, потом и у средней дочка родилась.

— Хватит! — густым голосом сказал Сары-каан. — Теперь хочу сына.

Пришло время, и у младшей жены дитя родилось.

— Эй, раб! — позвал Сары-каан. — Пойди узнай, кто там родился.

Пошел раб, видит — девочка. Идет обратно и думает: «Как быть? Скажу сын — Сары-каан поверил бы, да ему люди другое скажут, тогда за обман голова с плеч. Скажу дочь — за дурную весть все равно шею под топор».

Пришел к каану, на колени пал.

— Ну! — требует каан. — Кто родился? Говори скорее, пусть мои уши порадуются.

Раб не может рта открыть, челюсти не отмыкаются. Подол старой овчинной шубы по коленкам хлопает. Шапка в руках дрожит. Косица на левое ухо свесилась.

Зубы стучат, как в большой мороз. Наконец еле-еле проскрипел:

— Родилась де-евочка...

Тйох! Нет! Я сказал: «Хочу сына», значит — сын. Хватит девчонок, довольно. Где мои палачи?

Прибежали палачи, раба ремнем скрутили, но тут вдруг прилетела перепелка и села на голову каана.

— Эй, раб, — вскричал Сары-каан, — сейчас же перепелку поймай!

— Не могу.

Почему?

— Руки связаны.

— Эй, палачи! Развяжите его.

Палачи ремни развязали. Раб протянул руки, а перепелка взлетела и начала метаться по аилу.

Глупый ты, раб, глупый! — засмеялся Сары-каан. Кто же перепелку руками ловит? Возьми железную кувалду и запусти в нее, пожалуй, не уперется!

А перепелка посвистела, побегала и опять села на голову Сары-каана.

— Что медлишь? — гневался каан. — Возьми, говорят тебе, кувалду и ударь!

Сары-каан строго приказал. Раб ослушаться не посмел. Крякти, кувалду обеими руками поднял. Размахнулся, а перепелка свистнула и улетела. И кувалда опустилась на голову Сары-каана.

УШКО-КУЛАКЧА

Жил когда-то на Алтае старик. В молодые годы работал на Чалак-пая, в старости тоже отдыха не знал. С годами у старика от трудной работы спина согнулась, будто пополам сломалась. И прозвали старика Куланы-Горбатый.

Не было у старика ни земли, ни скота, а все его имение пегий конь. Ноги коня длинной шерстью, как мохом, обросли, грива будто инеем подернулась. На этом пегом коне старик Куланы зимой дрова возил Чалак-паю, летом верхом на Пегашке он пас неисчислимый скот Чалак-пая.

А еще была у Куланы жена-старуха и веселый сынок. Этот мальчик мог верхом на черенке ножа скакать, в опрокинутой чашке он как в аиле жил. Был он ростом с ухо, и прозвали его Ушко-Кулакча.

Вот однажды говорит Куланы своему Кулакче:

– Милый сын, нам есть нечего, ни зерна не осталось. Я поеду в соседнее стойбище, хоть чашку ячменя попрошу. А ты вместо меня ступай на пастбище, скот к стойбищу пригони.

Пошел Кулакча. В густой траве его не видно, у звонкой реки голоса его не слышно. Даже овцы пастуха Кулакчу не признают, бредут в разные стороны. Что делать, как овец собрать, к стойбищу пригнать? Думал Кулакча, думал и догадался! Подошел к Козлу-вожаку, влез к нему в ухо да как крикнет! Козел с испуга помчался к стойбищу, овцы кинулись вслед.

Видит Чадак-пай — овцы к стойбищу бегут.

— Где пастух? Эй, рабы! Не медведь ли моего Кураны задрал?

Вскочили рабы на лихих коней.

Страшно стало Кулакче, залез он в мышиную норку, простучали над ним конские копыта.

А вскоре на взмыленных конях рабы обратно вернулись:

— Великий Чадак-пай, если прикажете, из-под земли старика Кураны вытащить — вытащим. Прикажете с третьего неба достать — достанем. Однако на пастбище мы Кураны-Горбатого не нашли, медвежьих следов не увидели.

Чадак-пай правую ногу вперед выставил, нижнюю губу выпятил, глаза его как ядовито-желтые озера, зубы как волчьи клыки:

— Перелетная птица к своему гнездовью возвращается, старый раб обратно к своему хозяину придет.

Сказал так и вошел в свой покрытый белыми кошмами аил.

Когда все люди разбрелись по стойбищу, выбрался Кулакча из норки и пошел домой.

Старик Кураны, оказывается, здесь, у костра сидит, трубку курит, а старуха уже и кашу сварить успела.

— Здравствуй, сынок, — сказали старики, — видишь, добрые люди нам ячменя дали, поешь маленько.

На другое утро сел Кураны на своего Пегашку и погнал скот на пастбище.

Когда стада шли мимо стойбища, Чадак-пай поднялся со своего устланного волчьими шкурами ложа,

вышел из аила, выпятил тугой живот, упер руки в бока, подобно небу загремел:

— Где ты был вчера, Кураны?

— Ячменя ходил попросить.

— На кого скот бросил?

Затряслись колени у Кураны, руки запрыгали, сказать о своем Кулакче он не смеет.

А Чадак-пай ногой в красном сапоге топнул, говорит:

— Из-за тебя, Кураны, мои три коня вспотели. За это ты, Кураны, три месяца даром будешь работать.

Кураны пасет стада красных коров, пасет отары овец, табуны лошадей, но чашки молока ему негде взять, куска мяса нет у него.

Ночью сказала старуха жена своему Кураны-Горбатому:

— Уши мои уже не слышат, глаза не видят. От голода я умираю.

— Э-э, — вздохнул Кураны. — Голодных нас кто накормит, холодных кто обогреет?

Тут Кулакча вышел из-под своей чашки и сказал густым голосом:

— Холодных вас обогрею — костер зажгу. Голодных вас накормлю — пищу добуду. Дайте мне две сумины, посадите на коня.

Подняла старуха своего сыночка на ладонь, посадила верхом на палец, дала ему в руки вместо повода оленью жилу:

— Скачи, мой сын, Кулакча-богатырь!

Рассердился Кулакча, брови сдвинул:

— Завтра на утренней заре заседлайте пегого коня, приторочьте к седлу две пустые сумины.

Так сурово-сердито он говорил, что родители не посмели ослушаться. Утром посадили Кулакчу на коня, повесили через седло пустые сумины.

Пегашка, послушный старик, осторожно копыта ставит, Кулакча — лихой наездник, на шее коня сидит, за гриву держится.

Переступая мохнатыми ногами, шлепая копытами, идет пегий конь по синим горам, по белым пескам, по голым камням, по густой траве. Большие реки мелкими бродами переходит, через быстрые ручьи шагает, не забрызгав копыт.

Едет Кулакча, радуется. Он синему цветку протяжную песню пост, а цветам желтым и красным песни повеселей напевает. Улыбаются певцу желтые цветы, смеются красные, даже всегда печальные синие навстречу Кулакче, будто к солнцу, повернулись, лепестки раскрыли.

Вот пришел конь к большому стойбищу, аилы там, как стога сена в урожайный год, один подле другого стоят. Услыхали люди красивую песню, вышли из аилов. Увидели коня, а певца не видно, только песня гудит, звенит.

Конь с пустыми суминами, перекинутыми через седло, медленно переступает. Опустил голову до самой земли, губы отвисли.

— Что такое? — говорят люди. — Где певец?

Но вот оборвалась песня, и люди услышали голос:

— Сыпьте ячмень в сумины! Кураны-Горбатый есть хочет, его жена с голоду слепнет.

Испугались люди, насыпали ячменя и коня подхлестнули:

— Беги подальше!

Спешит домой Кулакча, радуется, отцу помог!

Цветы на полянах вместе с Кулакчой смеются. Спрыгнул на землю Кулакча с цветами поиграть, с кузнечиками попрыгать.

Конь вытянул шею и щиплет траву. Тут отщипнул, там откусил и вместе с травой Кулакчу проглотил.

Наелся, поднял голову, заржал, махнул гривой и потрусил к родному аилу.

— Э-э, отец, мать, выходите! — кричит Кулакча. — Ячменя полные сумины я вам привез.

Выбежали старики из аила, сняли сумины с коня, а Кулакчи нет.

— Где ты, дитя наше?

— У коня в брюхе.

Заохала мать, застонала. Отец ругнул ее шестьдесят раз, зачем она согласилась Кулакчу за ячменем послать.

— Теперь коня зарезать придется...

— Отец! — закричал Кулакча. — Не надо коня резать, сунь ему руку в глотку.

Послушался своего сына старик Кураны, конь перхнулся и отрыгнул Кулакчу.

Обрадовались отец и мать, целуют, ласкают сыночка. Будто солнце к солнцу прибавилось, луна к луне, такая была радость.

— Скажите, отец, — спрашивает Кулакча, — почему Чадак-пай уже три месяца нам еды не дает?

Опустил голову отец, трубку изо рта вынул:

— Силен Чадак-пай...

Разгневался Кулакча и ушел.

Люди не видят его, собаки не чуют.

Даже мыши не боятся, близко-близко к мальчику подходят, усами шевелят, лапками трогают:

— Это что за зверь?

Вот пришел он к белому аилу Чадак-пая, проник внутрь, спрятался. Его никто не видит, а сам Кулакча на всех смотрит.

Сидит Чадак-пай у жаркого очага, ест жирное мясо — сало с губ на землю каплет. Одна жена чегень из котла в длинную узкую бочку наливает, чтобы там настоялся, остыл, длинной палкой помешивает. Другая жена обрызгивает деревянного идола теплой аракой.

Насытился Чадак-пай, вытер губы пальцами, теперь ему поговорить захотелось:

— Женщины, вы у меня поучитесь от всякого дела барыш получать. Однажды, пока мы чай пили, три стоялых коня поразмялись немного, а я за это Куры-пастуха наказал. Убытки с него взыскал.

От злости почернел Кулакча, выскочил из аила. По каменной россыпи, как сеноставка, побежал, нашел спящую между камней змею, сунул ее в свой кисет, туда же опустил осиное гнездо, нашел в лесу глухариное гнездо, взял одно яйцо и обратно побежал, в белый аил.

Чадак-пай уже спал, и две его любимые жены тоже сладко храпели.

Кулакча привязал змею к палке, что торчала в бочке с чегенем, осиное гнездо вставил идолу в глаз, яйцо закопал в золу очага.

Потом поднял железную кувалду, повесил ее к косяку двери, а под дверью выкопал черную яму. Затем пошел жирного стоялого коня заколол, лучший кусок мяса в аил втащил, положил на кошму, где Чадак-пай с любимой женой спал. Сам на край дымоходного отверстия сел, свесил ноги и ждет.

Под утро закашлял Чадак-пай, открыл глаза, увидал мясо на кошме и как толкнет ногой любимую жену:

— Ты по ночам тайком сало ешь?

— Должно быть, ты сам потихоньку этим салом лакомишься, — рассердилась жена.

Сначала спорили, потом подрались. После драки захотелось Чадак-паю кислого чегеня испить, протянул кружку к бочонку, а тут змея как ужалит его! Кинулся Чадак-пай к очагу, чтобы головешку взять, змею убить. Но едва до головешки дотронулся, яйцо глухариное лопнуло, и полетели брызги в глаза.

— О-о-о, Яйик! — захрипел Чадак-пай, склонив голову перед идолом.— Ой, Яйик, смерть ли меня чует, добро ли меня ждет? Смилуйся, окажи помощь...

И толстыми руками погладил деревянного идола. Тут проснулись осы и попадали на Чадак-пая. Взвыл он, подбежал к двери, об железную кувалду лбом стукнулся и упал в яму.

— Ох, ха-ха! Ха-ха-ха! — засмеялся Кулакча. И так сильно он смеялся, что печень вздулась, живот лопнул. Упал Кулакча с дымохода, ударился о земляной пол, встал и до неба головой достал.

Крякнул, распрямил крутые плечи, качнул круглой головой.

Высокий аил Чадак-пая ему как шапка. Плотные кошмы Чадак-пая свернулись под пяткой Кулакчи, как осенние листья.

— Помоги из ямы вылезти, — пищит Чадак-пай.

— Как ты моему отцу помог, так я помогу тебе, — сказал Кулакча-богатырь и ушел.

Он шагал по Алтаю, а люди, кто верхом ехал, спешивались, чтобы красотой богатыря полюбоваться, кто

пешком шел, на землю ложились, чтобы на лицо богатыря взглянуть. Лицо его сверкает, как пожар, глаза — ягоды черемухи, брови круглые, как радуга.

Против большой горы он как другая гора, а прежде, бывало, на черенке ножа, как на коне, скакал, в опрокинутой чашке как в аиле жил.

Солнечной радости не знавшим старикам-родителям своим богатырь Кулакча солнце дал. Лунной радости не знавшим — луну подарил.

В этой светлой радости вечно живете, старики мои!

КАК СОЛДАТАС МЕДВЕДЯ ПОБЛАГОДАРИЛ

Жил когда-то на Алтае добрый человек, звали его Солдатас. Вот задумал он посеять ячмень. Выжег в лесу делянку и только было начал пни корчевать, как вдруг вышел из леса бурый медведь:

— Ты здесь что, в моем лесу, делаешь, Солдатас?

— Пни корчую.

— А меня почему на помощь не позвал?

У Солдатаса душа в живот ушла, сердце, будто рыба, выброшенная на берег, трепещет. Пот со лба по щекам бежит, язык от страха высох.

— Простите меня, уважаемый дядя медведь, — чуть шевеля губами, сказал Солдатас. — Пни корчевать работа тяжелая, а вы уже в годах. Не посмел я обеспокоить вас.

— Да, — вздохнул медведь, — я уже не молод. Но погляди, как еще прыток!

И взялся работать: толкнет передней лапой — пень через три горы летит, пихнет задней — пень через пять гор летит.

Хотел Солдатас выкорчевать поле величиной с две кошмы, а медведь выкорчевал с версту. Пришлось высеять не только тот ячмень, что был в торбе, но и тот притащить, что дома в ларе оставался.

Вот выколосился ячмень, метелки потяжелели, зерном налились.

Настала пора косить. Вышел Солдатас на свое поле с косой, раза два взмахнул, а бурый медведь тут как тут:

— Ты что делаешь, Солдатас?

— Ячмень кошу.

— Обо мне, однако, ты не подумал, не позвал. Давай косу!

У Солдатаса коленка об коленку стукнулась, волосы под шапкой шевелятся. Что делать? Дать косу медведю в лапы — страшно. Отказать? Еще страшней.

— Вы, мой старший дядя, сами знаете, коса тупая не бывает. Эта коса острая, вы себя нечаянно до крови полоснуть можете. Вот когда ячмень скошу, высушу, приходите молотить, зерно в мешки засыпать, солому в стога метать.

А медведь как рявкнет:

— Сено-солому сушить, в стога ставить? Сеноставка я тебе, что-ли?! Давай косу!

И пошел косой махать, так размахался, что даже взмок.

Солдатас думал за неделю управиться, а тут солнце еще за гору не зашло, земля еще не посинела, но поле уже все убрано.

А медведь все никак не угомонится. Косу положил, лоб и щеки травой обтер и опять требует.

— Ну, говори, какая еще будет работа?

— Когда ячмень высохнет, молотить будем, говорил я вам это, но вы рассердились.

А сам косу подобрал и, пятясь, спину показать опасаясь, осторожно выбрался из леса.

Пришло время, и собрался Солдатас молотить. А медведь, оказывается, с большой дубиной уже ждет.

Как начал дубиной своей ворочать, так зерно из метелок золотым ручьем потекло.

Солдатас ссыпал зерно в мешки, солому, как положено, стогом сложил.

— А теперь что? — пыхтит медведь.

— Надо бы нам урожай поделить. Вы мой старший дядя, вам первому выбирать положено.

— Ладно, если так положено, я согласен. Ты, значит, себе зерно бери, а я возьму солому. Притащу в берлогу, и будет мне всю зиму тепло на сухой соломе спать.

Привез Солдатас зерно к себе домой. Такого урожая он еще никогда не видал, столько хлеба никогда не запасал.

Хорошо стал жить. Каждый день суп кочо с ячменем варит, утром и вечером чай с толканом — ячменной мукой досыта пьет.

«Вот спасибо бурому медведю, — думает Солдатас, — как он сам-то зимует? Соломой сыт не будешь, отощал, должно быть, надо бы его угостить, хорошей пищей накормить».

Заколол Солдатас свою последнюю овцу, изжарил ее и понес в лес. Ноги вязли в снегу, спина от тяжелой ноши согнулась, живот озяб, но Солдатас все шел да брел, пока наконец-то не пришел к медвежьей берлоге. Она была забита снегом, и только маленькая проталинка в снегу темнела, оттуда шел пар, — это крепко спящий медведь продышал ее.

— Эй, дядя, — крикнул Солдатас, — проснитесь! Хорошая пища к вам сама пришла.

А медведь спит и не слышит.

Солдатас сломил ветку, пощекотал медведя:

— Вставайте, моим угощением не побрезгуйте!

— Хрр... Не встану... Бррр... Как сладко на соломе спа-а-ать...

— Да вы только понюхайте, сон сразу убежит.

Медведь высунул морду из берлоги, сожрал баранину и рассвирепел:

— Если твоя овца такая жирная, каков же ты сам?

Выскочил из берлоги и погнался за Солдатасом.

У Солдатаса будто крылья на ногах выросли, быстрее птицы, едва касаясь снега, бежал. Но чем скорее он улепетывал, тем все больше свирепел медведь. Вот он ухватил лапой подол Солдатасовой шубы, другой лапой шапку с головы сбил, пасть разинул...

Но тут вдруг громко залаяла Солдатасова собака.

— Чего кричишь? — рявкнул медведь.

А собака отвечает:

— Спасайтесь, дядя медведь, спасайтесь! Сын Караты-каана хочет медвежью шубу себе сшить. Ему такой, как вы, матерый медведь нужен, чтобы шкуру с него содрать.

— Но сначала я Солдатаса съем. Зачем он меня из берлоги выманил, беду эту накликал?

— Гав-гав, — снова залаяла собака. — С вашим Солдатасом еще встретитесь, отомстить ему успеете, а сейчас свою жизнь поберегите. Охотники уже совсем близко, на лыжах они бегут. Копья с бронзовыми наконечниками, послушайте, как звенят. Ложитесь скорее.

Медведь повалился на снег.

— Ой, Солдатас, спаси меня, скажи охотникам, что я бревно.

А собака опять залаяла:

— Охотники спросят, почему Солдатас не рубит такое толстое бревно.

— Ой, Солдатас, возьми топор и руби! Ну, чего стоишь, оглох, что ли? Говорят тебе, коли, руби!

Выхватил Солдатас топор из-за пояса, зарубил медведя и горько заплакал:

— Для чего я этого доброго дядю медведя не вовремя разбудил? Зачем овечьим мясом насильно его накормил?

ВЕРНАЯ СЕСТРА

Жил когда-то на Алтае меткий охотник, он ездил верхом на желтогривом кауром конс. Однажды, бурой осенью, поехал он в восточные горы на долгую охоту.

Много дней и ночей ждали охотника жена и сестра. Всю темную осень, всю долгую зиму ждала. Но когда зазвенела под снегом талая вода, жена села на землю в аиле перед очагом и заплакала. Поленья в огонь она больше не подкладывала, воду в котле не кипятила. Плакала жена и причитала, пока очаг не остыл. Тут она поднялась, пошла в лес, собрала хвороста и зажгла новый огонь, поставила кипятить новый чай.

Когда чай закипел, она сказала сестре охотника:

— Уже и лиственница весенним пухом зазеленела. Весною на белом Алтае никто ни зверя, ни птицу не бьет. Твой брат, должно быть, теперь охотится на другом, на черном Алтае, там, где пасется зарезанный скот, где резвятся жертвенные кони. Красной души его нить перерезана. Довольно плакать. Я приведу сюда, в аил, другого мужа.

Девушка ответила:

— Я ухожу. Пойду искать своего брата. Если жив он, буду рядом с ним, если душа его на черном Алтае, то у тела его поплачу.

Но невестка стала у двери, не пустила уйти из аила.

— Если уйдешь, кто дрова для очага из леса притащит, кто воды из реки принесет? Кто будет шкуры звериные разделывать-выделывать, одежду и обувку шить, кандык и сарану копать?

Девушка подпрыгнула и ухватилась руками за край дымохода:

— Пусть обернусь птицей, — молвила она. — Хочу полетать над землей, поискать милого брата.

И вдруг она уменьшилась, руки ее превратились в крылья, нос вытянулся клювом, она взмахнула крыльями и уже было выскочила наружу, но невестка успела схватить ее за правую ногу. Птица сбросила с ноги меховой сапожок и улетела.

Все дальше, дальше улетала. И вот на подоле восточных гор увидела она зеленую лиственницу, а под нею сухой скелет. Рядом лежали кости коня, уронившего голову на светло-желтую гриву.

Взлетела девушка-птица на самую высокую ветку и начала жаловаться небу:

— Брата нет, только лиственница зеленеет. Брата нет, только кости синеют... Яш-тыт, кööк сöök! Яш-тыт, кööк сöök... Зеленая лиственница, святые кости... Кöök сöök, кöök сöök...

И поныне, все еще оплакивая брата, девушка-птица нежно кукует. И люди зовут ее кӳӳк — кукушка.

Так, тоскуя да горюя, кукушка жилья себе нигде не поставила. И негде растить ей деток, вот и кладет она яйца в чужие гнезда.

— Яш-тыт, кöök сöök! Кöök сöök, кöök сöök... — причитает кӳӳк.

ЗОЛОТАЯ ЧОЧОЙКА

Скончался могучий Караты-каан.

Люди его рода, кости-племени почетно Караты-каана на тот свет, на тот Алтай проводили. Вместе с Караты-кааном опустили в могилу семь верблюдов, семерых женщин-рабынь, семерых девиц-песенниц. Положили в могилу добра — не пересчитать: шкуры, на которых Караты-каан спал, шубы, в которых ходил, кожаное седло с серебряными бляшками и еще любимую посуду — золотую чочойку.

Эту чочойку сын Караты-каана, молодой каан, никак забыть не мог. Ночью она ему снилась, днем мерещилась.

Сноха Караты-каана по этой золотой чочойке, как по родной матери, горевала.

И вот позвал молодой каан в свой белый аил сироту-раба:

— Ты, грязный Диту! Пойди на тот, на другой Алтай к моему отцу, принеси мне с того света золотую чочойку. Не пойдешь, не принесешь — я у тебя живого душу вырву, мертвого тебя на куски разорву.

Вышел Диту из белого аила, небо ему черным показалось. Куда идти, не знает, как на тот свет попасть, не ведает.

Идет он, куда ноги идут, а навстречу ему ковыляет белая, как сухое дерево старуха. Посмотрела на Диту, покачала головой, заскрипела:

— Мой мальчик, почему ты такой темно-синий?

— Сын Караты-каана приказал мне на тот свет идти, золотую чочойку сюда принести.

Белая, как сухая щепка, старуха говорит:

— Куда солнце заходит, на тот край земли иди, есть там черная дыра, прыгнешь туда и на тот свет попадешь.

Сунула старуха руку себе за пазуху, почесалась, поскреблась и вытащила из-за пазухи семь расчесок с длинными зубьями, семь иголок с длинными нитками, семь железных столбов.

— Это добро тебе на том Алтас, на том свете, пригодится, сынок.

Где стояла старуха — трава примялась, куда ушла, следа не видно.

Диту спрятал расчески в рукав, иголки воткнул за воротник, столбы на плечи взвалил и пошел туда, куда солнце заходит.

Он шел днем без отдыха, ночью без сна. Когда голоден был, траву жевал, когда пить хотел, росу с листьев слизывал. Достиг он края земли и увидал черную дыру. Прыгнул туда, но едва ноги земли коснулись, завыло все кругом, завизжало. Это семь песенниц, косматые, нечесаные, закричали, за воротник его шубы ухватились:

— Мы твои глаза выцарапаем, живот разорвем! Здесь тебе живому не жить, мертвому не гнить.

Диту бросил песенницам семь гребней с острыми зубьями. Песенницы тут же на землю сели и принялись расчесывать свои косы.

А Диту дальше побежал.

Но семь рабынь в ветхой одежде за ним погнались, за подол его шубы ухватились:

— О-о-о-о-о, у-у-у-у! — завыли. — Живого тебя умертвим, мертвого тебя затопчем.

Диту поднял воротник, увидали рабыни иголки с нитками, взяли их и тут же на землю сели, принялись зашивать прорехи на своей ветхой одежде.

А Диту дальше побежал.

Но дорогу ему преградили семь шелудивых верблюдов:

— Наша шерсть лезет, наши бока чешутся. Станем об этого парня тереться, станем чесаться, пока старая шерсть не вылезет, пока новая не вырастет.

Но Диту успел воткнуть в землю семь железных столбов, и верблюды начали тереться-чесаться об эти столбы.

А Диту дальше побежал.

Вот перед ним большая пещера, сидит там у костра Караты-каан, пьет из золотой чочойки густую араку.

— Как живешь, вонючий Диту?

— Хорошо живу. А вы как здесь существуете, великий каан?

Караты-каан золотую чочойку на землю поставил, только поговорить собрался, как Диту схватил чочойку и побежал.

Караты-каан вскочил — и за ним.

— Эй, верблюды, ловите Диту, топчите Диту!

— Тйох! Нет! — ответили верблюды. — Когда мы об угол твоей пещеры чесались, ты нас батогами гнал, а этот Диту нам столбы железные поставил.

Дальше бежит Диту, Караты-каан за ним.

— Эй, рабыни! Держите его, ловите!

— Нет! Ты нам за семь лет ни одной иголки не дал, чтобы ветхую одежду починить. А этот Диту нам каждой по иголке с ниткой подарил.

И Диту еще быстрее побежал, Караты-каан за ним.

— Эй, песенницы! — завопил Караты-каан. — Песнями своими Диту задержите, глазами своими заворожите, за руки, за ноги схватите, на землю повалите!

— Нет! Ты за семь лет нам, семерым, ни одной даже щербатой расчески не дал, а Диту нам каждой дал расческу с длинными зубьями.

Диту все дальше бежит, Караты-каан ни на шаг не отстает, уже и за подол шубы ухватился, но Диту успел руками за край ямы зацепиться. Подтянулся и выскочил на нашу землю. А Караты-каану сюда пути нет.

— Диту-у-у! — закричал каан. — Постой, погоди! Моему сыну привет от меня передай: пусть опрокинется кверху дном и встанет пустым котлом. А невестке мой привет — пусть из белого аила она черной сорокой в лес улетит.

Принес Диту молодому каану и его жене золотую чочойку.

— Неужто в самом деле ты у моего отца побывал? — смеется молодой каан.

— Э-э, был там, — отвечает Диту. — И ваш отец привет вам передал, пожелал Караты-каан, чтобы вы опрокинулись кверху дном и встали пустым котлом.

Молодой каан до конца дослушать не успел, словно кто наподдал ему сзади, — так быстро он перевернулся и упал пустым котлом.

— Ха-ха-ха! — засмеялась жена.

— И вам, почтенная, — сказал ей Диту, — свекор кланяться велел, пожелал он, чтобы вы стали черной сорокой.

— Ч-ч-чтто? — только полслова успела сказать почеловечьи, как нос у нее вытянулся, руки перьями

обросли, и, застрекотав по-сорочьи, улетела она в черный лес.

До сих пор сорока все еще стрекочет о том, как ее обидели. Но про то, как она золото любит, как кольца и монеты к себе в гнездо тащит, сорока никому не говорит.

ЕР-БЁКЁ-КААН И СИРОТА ЧИЧКАН

Давным-давно на холмистом Алтае жил Ер-бёкё-каан. Скота у него, как муравьев в муравейнике: хоть три дня считай — не сосчитать. Добро его ни в какой шатер не спрячешь: сундуки вокург стойбища, словно горы, половину неба закрывали.

Сам Ер-бёкё-каан толстый был, как старый кедр, — в четыре обхвата. Глаза его запухли, будто веки пчелами ужалены, губы лоснились от жирной пищи. Бока его ночью на мягком мехе нежились. Днем Ер-бёкё-каан надевал шубу, крытую черным шелком, на поясе нож в золотых ножнах, кисет, шитый синим бисером. Ноги обуты в красные кожаные сапоги, на голове высокая соболья шапка с серебряной кистью.

Когда Ер-бёкё-каан стоял, он одной рукой усы гладил, другой в бок упирался:

— Есть ли на земле каан сильнее меня?

— Видеть не видели, слышать не слышали, — отвечали все кругом.

Но вот однажды ехал мимо стойбища на маленьком кауром коне сухой, как осенний лист, старичок Танзаган.

— Эй, древний старик! — крикнул ему Ер-бёкё-каан. — Кто на свете могучее меня?

— Видать не видал, а слыхать слыхал. У истока семи рек, на подоле семи гор есть глубокая, в семьдесят сажен, пещера. В той пещере живет спереди желтый,

сзади черный медведь. Вот кто силен, говорят, вот кто могуч!

Сказал так, прутиком своего каурого конька стегнул, и нет старика, будто его и не было.

Там, где стоял каурый конь, — трава примята, куда ускакал — следа не видно.

— Э-э-эй! — закричал Ер-бёкё-каан. — Силачи мои, богатыри и герои! Изловите медведя, сюда приведите. Здесь, в моем белом шатре, на цепь его посажу. Захочу — вокруг костра бегать заставлю, захочу — в костре изжарю. Без медведя домой не возвращайтесь: вас казню и детей ваших не помилую.

Вздрогнули могучие воины, их бронзовые доспехи зазвенели. Не смея спиной к каану повернуться, пятясь, вышли они из белого шатра.

Ходили по долинам, по горам — нигде истока семи рек не нашли, семи гор, из одного подола поднявшихся, не видели, глубокой, в семьдесят сажен, пещеры не отыскали. Воду рек и озер взбаламутили, лес подожгли, но медведя, спереди желтого, сзади черного, не встретили.

Повернули коней, едут обратно. Еще издали стойбище увидав, спешились, коней в поводу повели, сами пешком пошли.

Белый ханский шатер увидали — на колени опустились, ползком поползли.

Впереди них малые ребята без шапок идут, милости у каана просить они не смеют. Позади — старики в длинных шубах ковыляют, умолять каана не отваживаются. Возле белого шатра все, как один, лицом на землю пали.

В гневе Ер-бёкё-каан как гром загремел, как железо засверкал. Распахнул золотую дверь, через серебря-

ный порог шагнул и вдруг споткнулся. Это ему под ноги кинулся паступок-сирота, по прозванию Чичкан-мышонок:

— Великий каан, богатырей своих пожалейте, детей малых простите, стариков уважьте.

Две любимые жены подхватили каана под обе руки, два свирепых палача схватили Чичкана за обе ноги.

— В кипящий котел его бросьте, — кричит каан, — кровь выцедите, мясо искрошите, кости истолките! Если ты, Чичкан-мышонок, жить хочешь, мелвеля сюда приведи!

И пошел сирота Чичкан, сам не знает куда. Обратно вернуться не смеет, в сторону с прямой тропы ступить не решается. Позади бурлят взбаламученные реки, впереди подожженный лес горит.

Рыбы из воды на берег прыгают, лягушки с берега в воду скачут, птицы из горящего леса вылетают, звери убегают, змеи уползают, только один маленький медвежонок на дереве сидит, плачет. Наверху ему страшно, а спрыгнуть еще страшней.

Чичкан влез на дерево, снял медвежонка, вынес его из огня и отпустил, а сам дальше пошел.

Идет, дня не видя, ночи не замечая. Так шел он, пока от голода и жажды не свалился.

Упал и видит — нависла над ним скала, на скале, как две слезы, две росинки висят. Открыл рот Чичкан, росинки упали ему на язык. Едва проглотил, как сразу понял, о чем между собой два ворона говорят.

— Карр, что ты тут делаешь, брат мой?

— Кар-кар, кра-а... А я на болото полечу, там жеребенок увяз, каррр!

Один ворон на болото полетел, другой на скале сидит.

Встал Чичкан и пошел к болоту.

Ворон тоже поднялся со скалы и, хлопая крыльями, закаркал:

— Человек умереть не захотел, остался я без пищи.

— Каарр, — отозвался издалека второй ворон, — поспеши, мой брат, на болото. Жеребенок увяз по самые глаза.

Ухватил Чичкан жеребенка за гриву, заплетенную в косички, и вытащил его!

— Кра-а... — заплакали оба ворона. — Этот конь теперь долго будет жить, Чичкану служить. Кра-а!.. А мы оба голодные остались.

И, хлопая крыльями, оба ворона улетели.

Погладил Чичкан мокрую шею жеребенка своей теплой рукой и молвил:

— Куда хочешь беги, Гнедой!

— Твой путь, Чичкан, отныне моим будет.

— Я иду к истоку семи рек, к подолу семи гор, к пещере глубиной в семьдесят сажен. Конца пути не вижу.

— Если пошел — надо идти, если идешь — надо дойти, а упадешь на пути, так головой вперед.

Долго ли, коротко шли — никому не ведомо. Но вот однажды увидели они семь снежных вершин. Как семь великанов в белых заячьих шапках, на одном лесистом подоле стоят. Из-под снега вода бежит, на семь тонких, как шелковые нити, ручьев разделяется.

Гнедой заржал. И вот из пещеры глубиной в семьдесят сажен вышли мохнатые, как семьдесят туч, семьдесят медведей. У каждого в лапах берестяной поднос с едой, на голове кожаный ташаур с питьем.

Впереди медленно выступал огромный зверь. Лапы его — как толстые колоды, голова — как обгорелый пень. На могучую спину десять медведей могли бы лечь. Шерсть у великана спереди светлая, как день, сзади черная, как ночь. Все медведи на задних лапах ступали, этот шагал на четырех. Близко-близко он к Чичкану подошел, низко-низко свою голову склонил:

— Ты для меня, сирота Чичкан, — утреннее солнце, вечерняя луна. Ты моего сына из огня спас. Ешь и пей, что хочешь, проси и требуй, чего пожелаешь, подарок выбирай, какой нравится.

— Угощенья вашего отведать не смею, подарка принять не могу. Ер-бёкё-каан меня за вами послал. Он

вас на цепь посадит, вокруг костра бегать заставит, на огне зажарит, — ответил мальчик.

У медведей на густых ресницах слезы повисли. Побросали они свои подносы с едой, ташауры с питьем и зарычали:

— Р-р-разорвем Ер-бёкё-каана!

Большой медведь поднял правую переднюю лапу — все медведи разом смолкли.

— Я пойду в шатер Ер-бёкё-каана, — сказал великан.

Спорить с большим медведем звери не посмели. Осушили они с горя все ташауры, съели все угощение и, утирая лапами слезы, пошли в свою глубокую пещеру.

— Садись ко мне на спину! — приказал большой медведь Чичкану.

Будто по толстому стволу дерева, вскарабкался Чичкан по лапе медведя-великана, взгромоздился ему на спину. И побежал медведь быстрее воды, а следом, вровень с ветром, мчался Гнедой. Вот увидали в небе дым очагов, увидали в долине остроконечные верха аилов. Это стойбище Ер-бёкё-каана до самого конца земли, до края неба раскинулось.

— Ма-аш! — рявкнул медведь.

Скот в горы убежал, пастухи попрятались в аилы, ременными арканами прикрутили двери к железным скобам, дышать не смеют. Свирепые псы, дрожа и скуля, в кусты уползли.

А медведь уже к белому шатру бежит:

— Ма! Мааш!

Волосы поднялись на голове Ер-бёкё-каана, шапка на пол упала, сердце чуть не треснуло, печень чуть не лопнула.

— Ммааш! Ммааш!

Ер-бёкё-каан кинулся под топчан, его верные жены влезли в сундуки, крышками прикрылись.

А медведь уже здесь, в шатре. Посреди шатра жарко трещал большой костер, над костром на железной цепи висел бронзовый котел.

Когда медведь повернул морду к топчану, каан выскочил из-под топчана, кинулся к костру. Медведь — за ним. Семь раз вокруг костра каан обежал, медведь все ближе, ближе...

Тут Ер-бёкё-каан подпрыгнул, за железную цепь ухватился, сам себя на цепь верхом посадил, над кипящим котлом повис:

— О-о, Чичкан, смерть ли моя пришла, добро ли меня ждет? Спаси меня, сынок, уведи ты этого спереди желтого, сзади черного зверя...

Спрыгнул сирота Чичкан с медвежьей спины, медведю поклонился.

— Пусть счастливой будет ваша дорога.

— Будь и ты счастлив, мальчик, — сказал медведь и ушел.

Отпустил Ер-бёкё-каан цепь, на землю упал, вскочил, шапку надел, усы рукой погладил, другой рукой в бок уперся и на Чичкана смотрит. Смотрел, смотрел каан, глаза у него выпучились, усы поднялись, как у тигра. «Под худым седлом ходит добрый конь, в худой шубе растет богатырь непобедимый», — подумал каан. Рука к золотым ножнам потянулась, глаза кровью налились:

— Мне, великому Ер-бёкё-каану, и тебе, ничтожному Чичкану, из одной чаши не пить, в одном стойбище не жить. Уходи туда, куда на соловом коне не скакал я никогда!

Земли под собой не чуя, выскочил из белого шатра Чичкан. Не оглядываясь, побежал он к своему маленькому круглому, как сердце, шалашу.

Гнедой, часто-часто перебирая ногами, постукивая копытцами, ни на шаг от мальчика не отстал, ни на шаг вперед не забежал.

В шалаше у потухшего костра лежала мертвая овца.

Громко заплакал Чичкан:

— Ярко горевший костер угас, одна только овца была у меня, да и той уже нет...

Но тут он вдруг услышал тонкий жалобный голос, поднял голову и увидел ягненка. Крепко поцеловал его Чичкан, осторожно накинул ему на шею мягкий волосяной аркан. Жеребенку Чичкан надел ременную узду, в последний раз посмотрел на свой круглый, как сердце, шалаш и пошел искать себе место для стойбища.

Идут все трое — мальчик, ягненок и жеребенок, дня не видя, ночи не замечая. Вдруг навстречу им сухой, как осенний лист, старичок Танзаган на маленьком кауром коне:

— Куда путь держишь, Чичкан-богатырь?

— Иду туда, где Ер-бёкё-каан не бывал никогда.

— Видать не видал, а слыхать о такой земле слыхал. Говорят, там овцы пасутся без хозяина, коровы ходят без пастуха, кони резвятся, не зная узды. Там белый шатер поставлен тому, кто ни зверю, ни человеку никогда не солгал, кто много работал, да мало спал. Иди, Чичкан, куда ягненок пойдет, остановись там, где ягненок встанет.

Сказал — и нет его. Где стоял каурый конь — трава примята, куда ускакал — следа не видно.

И опять все трое шли, ни днем, ни ночью не отдыхая. На восьмую ночь ягненок встал — не сдвинешь его, будто он в землю врос.

У ног Чичкана тихо-ласково ручей с травой разговор ведет, над головой звездные костры жарко горят. Мальчик воды из ручья зачерпнул, сам напился, жеребенка и ягненка напоил, под открытым небом спать лег.

Утром проснулся — сам себя не узнал. Вместо тулупа с девяноста девятью заплатами на нем шуба, крытая красным шелком, ноги обуты в красные кожаные сапоги, под головой черный бобровый мех, на постели постланы серые волчьи шкуры, одеяло из красных лисьих шкур. Белая, как сахар, кошма натянута на твердые, будто из меди отлитые, лиственные жерди. Тронешь их — они звенят, толкнешь — не шелохнувшись стоят.

Вышел Чичкан из белого шатра, увидал против двери золотую коновязь. У коновязи — Гнедой.

Сбруя на нем шита жемчугом, седло бронзовыми бляшками украшено.

Чичкан кругом посмотрел — долина будто снегом заметена: белых овец не сосчитать, а впереди ягненок с волосяным арканом. На холмах красные стада, на горах несметные табуны.

Выпрямился Чичкан, голову выше поднял, по-богатырски закричал, по-орлиному заклекотал. Приложил к губам маленький железный комыс, густую песню через горы и долины повел. Двухструнный топшуур взял — легкая песня по холмам разлилась.

Эту светлую песню услыхали пастухи Ер-бёкё-каана, на чистый голос прискакали. Увидали они неис-

числимые стада, белый шатер, Гнедого в затканной жемчугом сбруе. Повернули пастухи коней, помчались обратно к своему стойбищу.

Ер-бёкё-каан, о Чичкане услыхав. как река забурлил, как лед затрещал. На золотом ложе ему не лежится — постель будто раскаленный камень. Ни пить, ни есть не может, будто кость застряла в горле.

Вскочил на своего солового коня, как буря помчался, как вихрь на вершину горы взлетел, стойбище Чичкана увидел и горько-ядовито закричал:

— У коровы длинный хвост, только шерсть на нем короткая! Мышонок Чичкан раскинул шатер, да не жить ему здесь! Завтра на восходе солнца мой отцовский лук покажет свою мощь, мои могучие руки силу свою испытают. Выходи, Чичкан, на смертный бой! Твой шатер сожгу, твой скот заколю, в котлах сварю, своих воинов потешу. Мне, великому каану, и тебе, жалкому Чичкану, из одной чаши не пить, на одной земле не жить!

Сказал, дернул повод коня и, не дожидаясь ответа, ускакал.

Заблеяли овцы, замычали коровы, лошади заржали:

— Нет у нас ни когтей, ни клыков, помоги нам, Чичкан-богатырь!

Горько-жалобно заплакал сирота Чичкан. Он лука и стрел в руках никогда не держал, воевать не учился.

— Бегите отсюда, белые отары, красные стада, быстрые табуны. Я один Ер-бёкё-каана встречу, я один буду с Ер-бёкё-кааном биться, пока хватит сил.

Еще не умолк этот жалобный плач, как послышался голос медведя-великана:

— Возьми, Чичкан, свой синий топор, свой белый нож. Нарежь крепкие гибкие ветки, согни тугие луки,

стяни их звенящей тетивой. Заостри стволы пихт — они будут нам копьями, наломай веток орешника — они будут нам стрелами.

Весь день до ночи работал Чичкан, всю ночь при свете костра трудился. Но вот будто богатырь распахнул на груди темную шубу — открылись взгляду плечи гор на западе. Посветлело небо и на востоке. Выпрямился Чичкан и увидал медведя-великана. Вместе с алой зарей он на стойбище шел.

За большим медведем шли сурки в желтых дохах, за сурками медленно двигались серые барсуки, за барсуками, подталкивая их, спешили росомахи с круглыми щитами на черной спине, за росомахами шагали медведи в бурых тулупах.

Луки со стрелами пришлись впору суркам, оружие потяжелее взяли барсуки и росомахи. Саженные копья легко, играючи, медведи подняли.

Как огненный бубен, выкатилось на небо утреннее солнце. Вместе с солнцем двинулся к стойбищу Чичкана Ер-бёкё-каан со своим непобедимым войском. Звеня бронзовыми доспехами, вызывали могучие воины Чичкана-сироту на бой.

— Ложись! — приказал зверям большой медведь.

Впереди всех залегли сурки и барсуки. За сурками притаились в густой траве росомахи. Позади росомах прижались к земле медведи.

С одного края этого войска черно-желтый большой медведь встал, с другого — Чичкан на Гнедом.

В небе солнце поднялось, в долину воины Ер-бёкё-каана спустились.

Большой медведь дал им близко-близко подойти да вдруг как рявкнет:

— Ма-аш!

Все звери, как один, вскочили, Ер-бёкё-каан едва успел коня осадить.

Стрелы, как молнии, воинов разят, копья без промаха бьют. Глаза зверей синим пламенем полыхают, дыхание их расстилается, как густой туман.

— Эй, ма-аш кондутсер! Вперед, вперед! — приказал медведь-великан.

Сурки свистнули, барсуки хрюкнули, росомахи закричали, медведи заревели и все вместе двинулись на войско Ер-бёкё-каана.

— Ойто кайра-а! Назад, назад! — взвизгнул Ер-бёкё-каан.

Но звери его приказа не послушались, только еще свирепее зубами лязгнули.

Ер-бёкё-каан дернул повод коня, зверям спину показал, за ним побежали непобедимые воины.

Реки выходили из берегов, когда это войско бродом шло; камни дымились и рассыпались золой, когда по суше бежало. Свой белый шатер, сундуки с добром Ер-бёкё-каан пятками в пыль истолок.

Ни моря, ни скалы остановить этот бег не могли.

К какому краю земли прибежал Ер-бёкё-каан, где он свою смерть нашел, только два черных ворона могли бы нам поведать, да языки их мы не понимаем, двух светлых росинок нам испить не довелось. И теперь даже имя Ер-бёкё-каана позабыто.

Однако хорошо помнят на Алтае, что помог сироте Чичкану спереди желтый, как день, сзади черный, как ночь, великан медведь.

С той поры и до наших светлых дней старики сказители уважительно медведя старшим дядей зовут.

АК-ЧЕЧЕК — БЕЛЫЙ ЦВЕТОК

Далеко-далеко, там, где девять рек в один поток слились, у подножия девяти гор шумел могучими ветвями синий кедр. Под его шелковой хвоей, опершись на крепкий ствол, давным-давно стоял маленький шалаш.

В том шалаше жил пожелтевший от старости словно дымом окуренный дед. И было у старика три внучки, одна другой краше.

Вот пошел дед за дровами. Поднялся на лесистую гору, увидел лиственницу с черными сучьями.

Это дерево на корню высохло. Один раз ударь — оно и упадет.

Вытащил старик из-за пояса острый, как молодой месяц, топор, ударил по стволу. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил страшный зверь да как вцепится зубами в руку!

— Ой, ой! — заплакал старик. — Отпусти меня! Я тебе что хочешь дам.

— Ладно, — отвечает зверь человечьим голосом. — Отдай мне твою любимую внучку.

Пришел старик домой и говорит старшей внучке:

— Не пойдешь ли ты к этому зверю? Я слово дал.

Оглянулась девушка, увидела зверя.

— Лучше, — говорит, — в воду брошусь!

Старик спросил вторую.

— Лучше удавлюсь!

— А ты, Ак-чечек, мой Белый цветок, не согласишься ли?

Младшая внучка подняла голову. Ее круглые глаза полны слез.

— Что обещано, то должно быть исполнено. Чем быть, то и будет.

Левой рукой слезу смахнула, правую зверю протянула.

И повел зверь девочку по долинам, по холмам, через реки, сквозь леса.

Пришли они на золотую поляну, где лиственницы всегда зеленеют, где светлый ключ без умолку стрекочет, где кукушка кукует весь год.

На краю этой поляны, под боком у синей горы, увидела Ак-чечек семь сопок, сверкающих, словно чистый лед.

Страшный зверь подошел к средней сопке, ударил лапой — распахнулась в ледяной сопке дверь, и открылся белый высокий дворец.

Вошла Ак-чечек. На столах расписные чаши с едой. На стенах двухструнные топшууры и серебряные свирели-шооры. Они сами собой звенят, а невидимые певцы песни поют. На привет они не отвечают, на зов не откликаются.

Стала жить Ак-чечек в сопке, голубой, как лед, в белом дворце. Внутри нет никого, снаружи страшный зверь лежит, сторожит девочку день и ночь.

Когда Ак-чечек в своем худом шалаше жила, она утреннюю зарю песней встречала, зарю вечернюю сказкой провожала. Теперь не с кем было ей посмеяться, словно молвить некому.

А старшие сестры вышли замуж за метких охотников. Вот надумали они проведать свою маленькую Ак-чечек.

— Если умерла она, мы хоть над могилой холодной поплачем, если жива — домой увезем.

Собираясь в дорогу, жирного мяса нажарили, в дорожные мешки-арчимаки сложили. Араки наварили, в кожаные ташауры налили. Оседлали сытых иноходцев и отправились в путь.

Услыхал страшный зверь топот копыт, увидал двух сестер на резвых конях. Ударил лапой. И сверкающий ледяной дворец обернулся жалким шалашом. На голой земле — облезлые звериные шкуры, у костра — почерневшая деревянная чашка.

Вышла Ак-чечек из шалаша, низко сестрам своим поклонилась.

— Милая ты наша Ак-чечек, — заплакали сестры, — не нужно было тебе деда слушать... Садись на копя, взмахни плетью — и даже птица быстрокрылая тебя не догонит.

— Слова своего не нарушу, — молвила Ак-чечек.

— Ох, несчастливая ты родилась, Белый цветок! — вздыхали сестры. — Видно, гордость твоя заставит тебя умереть здесь, в этом грязном шалаше.

Так, причитая и горюя, съели сестры привезенное мясо, выпили араку, крепко-крепко свою Ак-чечек поцеловали, сели на коней и поскакали домой.

А страшный зверь ударил лапой — исчез шалаш, и на его месте стал дворец краше прежнего.

И вот каан той земли задумал женить своего старшего сына. Всем людям велел он прийти на свадебный пир.

Даже Ак-чечек услыхала об этом празднике.

Заплакала она, загрустила:

— Ах, не петь мне теперь, не плясать больше на праздниках!..

Страшный зверь подошел к ней, человечьим голосом заговорил.

Долго думал я, моя тихая Ак-чечек, чем тебя одарить, как наградить, и положил к ее ногам золотой ключ. Открой большой сундук.

Золотым ключом Ак-чечек отомкнула алмазный замок. Откинулась кованая крышка. Словно кедровые орехи, насыпаны в сундуке серебряные и золотые украшения. Опустила руки в сундук — будто в белой пене утонули руки в мягких одеждах.

Ак-чечек долго одевалась, выбирая украшения. Но и без выбора если бы она оделась, все равно прекраснее ее нет никого.

Переступила Ак-чечек через порог — у порога лунно-белый конь стоит. Жемчугом украшена узда, молочным блеском сияет серебряное седло, шелковые кисти висят до земли.

В одежде белой, как раннее утро, Ак-чечек быстро-быстро поскакала на лунно-белом коне. Вот перевалила она через высокие горы, перешла бродом быстрые реки, и слышит Ак-чечек позади себя топот копыт, слышит — голос, густой и низкий, ласковую песнь поет:

Если стременем воду черпну,
Глотнешь ли?
Если на расстоянии дня пути ждать буду,
Придешь ли?
Если в ладонях воды принесу,
Отопьешь ли?

Обернулась Ак-чечек, увидала юношу. Он сидит верхом на вороном иноходце, на нем шуба, крытая черным шелком, на голове соболья высокая шапка.

Лицо у него как десятидневная луна, черные брови его красоты неописанной.

— Якши ба, как живете? — поздоровался всадник.

— Якши, хорошо живу, — отвечает ему Ак-чечек. — Слерде якши ба? Как вы поживаете? — И сама слов своих не слышит.

Сердце будто иголкой проколото, по коже мороз пробежал. Глаз поднять она не смеет. Вниз смотрит, видит — ноги юноши вдеты в стремена, медные, большие.

Будто опрокинутые чаши эти стремена, как два маленьких солнца сияют.

Если в ладонях воды принесу,
Отопьешь ли?
Если на расстоянии месяца пути умирать буду,
Вспомнишь ли? —

опять запел юноша.

Белый цветок и всадник в одно время приехали на великий свадебный пир.

Женщины не мигая на юношу глядят, из котлов мясо вынуть позабыли, чай остывает в чочойках. Мужчины на Ак-чечек не дыша смотрят. Оборвались их песни, погасли их трубки.

И дед и обе сестры тоже были на этом пиру. Увидели они юношу и вздохнули.

— Если бы наша милая Ак-чечек с нами жила, этот молодец был бы ей женихом, — сказала старшая сестра.

— Когда бы Ак-чечек на этот пир пришла, она и сама к зверю не воротилась бы, — ответила вторая.

Не узнали они свою Ак-чечек в ее светлой одежде.

Сама Ак-чечек подойти к ним не посмела.

Солнце прячется за гору. Ак-чечек садится на лунно-белого коня. Повод к себе потянула, тихонько оглянулась, на юношу посмотрела, опустила глаза и хлестнула коня.

Вот уж проехала Ак-чечек половину пути, и опять топот копыт, и опять тот же голос, мягкий и густой, ту же песнь поет:

Если на расстоянии месяца пути умирать буду,
Вспомнишь ли?

— Хорошо ли время провели? — слышит Ак-чечек.

Нежное лицо ее стало белым, как сухое дерево.

Слова вымолвить она не может. А юноша нагоняет ее, вот-вот поравняется... Ак-чечек коня поторопила, не оглянувшись, ускакала.

У голубой сопки она спешилась.

— Здравствуй! — говорит ей человечьим голосом страшный зверь. — Хорошо ли, весело ли было тебе на празднике? Каких людей там повидала? Кто понравился больше всех?

— Хорош ли был праздник, не знаю. Сколько там народу веселилось — не считала. У большого каана на великом пиру я только одного человека видела, только о нем и думала. Он ездит на вороном иноходце, носит шубу, крытую черным шелком, соболья высокая шапка на голове у него.

Страшный зверь встряхнулся. Со звоном упала безобразная шкура. Тот, о ком Ак-чечек весь день думала, перед ней стоит.

— Добрая моя Ак-чечек — Белый цветок! Это я семь лет страшным зверем был, это ты своей верностью злые чары сняла, злое колдовство разрушила.

А невидимые топшууры и шооры звенели-гремели; смеялись и плакали невидимые певцы, слагая великую песнь о милой Ак-чечек. Наши кайчи — сказители эту песнь о Белом цветке запомнили и нам с любовью повторили.

ТОРКО-ЧАЧАК — ШЕЛКОВАЯ КИСТОЧКА

Жила-была девочка, звали ее Торко-чачак — Шелковая кисточка. Глаза у нее точно ягоды черемухи, брови — две круглые радуги. В косы вплетены заморские раковины, на шапке кисточка из шелка, белого, как лунный свет.

Заболел однажды отец Шелковой кисточки, вот мать и говорит ей:

— Сядь, дитя мое, на буланого коня, поскачи на берег Бурной реки к берестяному аилу, там живет Телдекпей-кам. Попроси, позови его, пусть придет отца твоего вылечит.

Девочка вскочила на буланого коня с белой звездочкой на лбу, взяла в правую руку ременный повод с серебряными бляшками, в левую — плеть с узорчатым костяным черенком.

Резко бежал длинногривый конь, уздечка подскакивала, как хвост трясогузки, кольца на сбруе весело звенели.

Телдекпей-кам — старик сидел у порога своего берестяного аила. Острым ножом резал из комеля березы круглую чашку — чочойку. Услыхал резвый топот копыт, веселый перезвон колец на сбруе, поднял голову и увидал девочку на буланом коне.

Статно сидела она в высоком седле, полыхала на ветру шелковая кисточка, пели заморские раковины в тугих косах.

Нож выпал из руки кама, чочойка в костер покатилась.

— Дедушка, — молвила девочка, — мой отец заболел, помогите нам.

— Я вылечу твоего отца, Шелковая кисточка, если ты за меня замуж пойдешь.

Брови у кама — белый мох, борода — колючий кустарник.

Испугалась Шелковая кисточка, дернула повод коня и ускакала.

— Завтра на утренней заре приду! — крикнул ей вдогонку Телдекпей-кам.

Примчалась девочка на стойбище, в аил вошла:

— Завтра на утренней заре Телдекпей-старик будет здесь.

В небе еще звезды не растаяли, в стойбище люди молока еще не заквасили, мясо в котлах еще не сварилось, белую кошму на полу еще не расстелили, как послышался топот копыт. Это ехал верхом на широком, как горный сарлык, коне Телдекпей-кам.

Самые старые старики вышли навстречу. Коня под узды взяли, стремя поддержали.

Молча, ни на кого не глядя, кам спешился, ни с кем не поздоровавшись, вошел в аил. Следом старики внесли двухпудовую колдовскую шубу и положили ее на белую кошму.

Красную колдовскую шапку туда же поставили. Бубен повесили на деревянный гвоздь, под бубном зажгли костер из душистых ветвей можжевельника.

Весь день, от утренней зари и до вечерней, кам сидел, не поднимая век, не шевелясь, не говоря ни слова.

Поздней ночью Телдекпей-кам поднялся, глубоко, до самых бровей, надвинул свою красную шапку с нитями разноцветных бусин. Перья филина торчали на шапке, как два уха, красные лоскуты трепыхались сзади, как два крыла. На лицо упали крупные, как град, стеклянные бусы. Кряхтя поднял кам с белой кошмы свою двухпудовую шубу, охая, просунул он руки в жесткие рукава. По бокам шубы висели сплетенные из колдовских трав лягушки и змеи, на спине болтались шкурки дятлов. Снял кам с гвоздя кожаный бубен, ударил в него деревянной колотушкой. Загудело, зашумело в аиле, как на горном перевале зимней порой. Люди похолодели от страха. Кам плясал-камлал, бубенцы звенели, бубен гремел. Но вот все разом смолкло. В тишине будто гром загрохотал — это в последний раз ухнул бубен и затих.

Телдекпей-кам опустился на белую кошму, рукавом отер пот со лба, пальцами расправил спутанную бороду, взял с берестяного подноса сердце козла, съел его и сказал:

— Прогоните Шелковую кисточку, злой дух сидит с ней. Пока она по стойбищу ходит, отец ее здоровым не встанет. Горе-беда эту долину не оставит. Малые дети навеки уснут, отцы их и деды страшной смертью умрут.

Женщины со страху лицом вниз на землю упали, старики с горя ладони к глазам прижали. Юноши на Шелковую кисточку посмотрели, два раза покраснели, два раза побледнели.

— Посадите Шелковую кисточку в деревянную бочку, — гудел кам, — стяните бочку девятью железными обручами, заколотите дно медными гвоздями, бросьте в бурную реку.

Сказал, сел на лохматого коня и поскакал к берегу бурной реки, к своему берестяному аилу.

— Э-эй, — крикнул он своим рабам, — ступайте на реку! Вода принесет мне большую бочку, поймайте ее, сюда притащите, а сами бегите в лес. Плач услышите — не оборачивайтесь. Стон-крик по лесу разольется — не оглядывайтесь. Раньше, чем через три дня, в мой аил не приходите.

Семь дней, семь ночей люди на стойбище не решались посадить в бочку милую девочку. Семь дней, семь ночей с девочкой прощались. На восьмой посадили Шелковую кисточку в деревянную бочку, стянули бочку девятью железными обручами, забили дно медными гвоздями и бросили в бурную реку.

В тот день у реки сидел на крутом берегу сирота рыбак Балыкчи.

Увидал он бочку, выловил ее, принес в свой шалаш, взял топор, выбил дно, а там — девочка!

Как стоял Балыкчи с топором в руке, так и остался стоять. Словно кузнечик, подпрыгнуло его сердце.

— Девочка, как тебя зовут?

— Шелковая кисточка.

—Кто посадил тебя в бочку?

— Телдекпей-кам повелел.

Вышла девочка из бочки, низко-низко рыбаку поклонилась.

Тут рыбак свистнул свирепую собаку. Посадил Балыкчи собаку в бочку, забил дно медными гвоздями и бросил в реку.

Вот увидали эту бочку рабы Телдекпей-кама, вытащили ее, принесли в берестяной аил, поставили перед старым колдуном, а сами убежали в лес.

Все сделали, как приказал кам. Но еще до леса не дошли, крик услыхали.

— Помогите, — кричал кам, — помогите!

Однако рабы, плач услыхав, не обернулись, стон услыхав, не оглянулись — так приказал кам.

Только через три дня пришли они из леса домой. Кам лежал на земле чуть жив. Одежда его была в клочья изорвана, борода спутана, брови взлохмачены. Шубы двухпудовой больше ему не надевать, в кожаный бубен не стучать, людей не стращать.

А девочка осталась жить в зеленом шалаше. Балыкчи не ходил теперь рыбу удить. Сколько раз, бывало, возьмет удочку, шагнет к реке, оглянется, увидит девочку на пороге шалаша, и ноги сами несут его обратно. Никак не мог он наглядеться на Шелковую кисточку — Торко-чачак.

И вот взяла девочка кусок бересты, нарисовала соком ягод и цветов на ней свое лицо. Прибила бересту к палке, палку воткнула в землю у самой воды. Теперь рыбаку веселее было сидеть у реки. Торко-чачак смотрела на него с бересты как живая.

Однажды загляделся Балыкчи на разрисованную бересту и не заметил, как клюнула большая рыба. Удилище выскочило из рук, сбило палку, береста упала в воду и уплыла.

Как узнала про то девочка, громко заплакала, запричитала, ладонями стала тереть брови, пальцами растрепала косы.

— Кто найдет бересту, тот сюда придет! Поспеши, поспеши, Балыкчи, догони, догони бересту! Выверни свою козью шубу мехом наружу, чтобы тебя не узнали, сядь на синего быка и скачи вдоль по берегу, к устью реки.

Надел Балыкчи козью шубу мехом наружу, сел на синего быка, поскакал вдоль по берегу реки.

А разрисованная береста плыла все дальше, все быстрее. Догнать ее Балыкчи не поспел.

Принесла река бересту в широкое устье, к бурному морю. Здесь береста зацепилась за ветку тальника и повисла над волнами.

А на берегу моря раскинулось стойбище Кара-каана. Бесчисленные стада, неисчислимые табуны паслись в густой траве.

Увидали пастухи на красном тальнике белую бересту. Подошли поближе, взглянули и загляделись. Шапки их вода унесла, стада их по лесам разбрелись.

— Какой сегодня праздник? Чью справляете свадьбу? — загремел Кара-каан, подскакав к пастухам. — Эй, вы! Лентяи!

Девятихвостую плеть Кара-каан высоко поднял, но увидел бересту и плеть уронил.

С бересты глядела девочка. Губы у нее — едва раскрывшийся алый цветок, глаза — ягоды черемухи, брови — две радуги.

Схватил Кара-каан бересту, сунул за пазуху и закричал страшным голосом:

— Эй, вы! Силачи, богатыри, алыпы и герои! Сейчас же на коней садитесь! Если эту девочку мы не найдем, я всех вас пикой заколю, стрелой застрелю, в кипятке сварю.

Тронул повод коня и поскакал к истоку реки. Следом за ним мчались воины, гремя тяжелыми доспехами из красной меди и желтой бронзы.

Позади войска конюшие вели в поводу белого, как серебро, быстрого, как мысль, иноходца, в сбруе, расшитой жемчугом и бирюзой.

Увидав это грозное войско, Шелковая кисточка не заплакала, не засмеялась. Молча подошла к белому иноходцу, села в расшитое жемчугом и бирюзой седло.

Так, не плача, не смеясь, ни с кем не заговаривая, никому не отвечая, жила девочка в шатре Кара-каана.

Вдруг одним солнечным утром она в ладони захлопала, засмеялась, запела и выбежала из шатра.

Посмотрел Кара-каан, куда она смотрит, побежал, куда она бежала, и увидал молодца в козьей шубе мехом наружу, верхом на синем быке.

— Этот нищий развеселил тебя, Шелковая кисточка? — сказал Кара-каан. — Я тоже могу надеть рваную шубу, сесть на синего быка не побоюсь! Улыбнись ты и мне так же весело, спой так же звонко.

И Кара-каан сорвал с плеч Балыкчи козью шубу, на себя надел, к синему быку подошел, за повод взялся, левую ногу в железное стремя поставил.

— Моо, моо! — заревел бык и, не дав хану перекинуть через седло правую ногу, потащил его по долинам и холмам.

От стыда лопнула черная печень Кара-каана, от гнева разорвалось его круглое сердце.

А Шелковая кисточка взяла рыбака-сироту Балыкчи за правую руку, и они вернулись вдвоем в свой зеленый шалаш.

Найдите и вы свое счастье, как они свое нашли.

ЧИМИРИК

Жил на Алтае Сюмелу-пай. Он ездил на вороном иноходце, ходил в шубе, крытой черным шелком.

Вот одним белым утром поехал Сюмелу-пай на пастбище, захотел он поглядеть на свои стада рогатого скота, на свои табуны всех шестидесяти мастей.

Плавно бежит вороной иноходец, важно сидит в высоком седле Сюмелу-пай. А навстречу ему, верхом на свирепом быке, — алмыс-людоед. Глаза у алмыса — кипящие котлы, зубы — острые ножи.

— О-о! — вскричал алмыс. — Давно, слыхал я, живет на земле, в нашем Алтае, славный алып-герой Сюмелу-пай. Не вы ли это будете?

У Сюмелу-пая нижняя губа отвисла, пот со лба течет, а сам дрожит в своей теплой шубе.

— Д-да, я Сюмелу-пай. Приходите завтра в мой восьмигранный кошемный аил. Я приготовлю для вас лучшее угощение, встречу вас в самой хорошей одежде, на самом быстром коне.

— Ну ладно. Приду. Однако, если обманете, худо вам будет.

Сюмелу-пай дернул повод, ударил девятихвостой плетью вороного иноходца. Как ветер примчался вороной иноходец на стойбище. Сюмелу-пай как молния засверкал, как железо загремел:

— Эй, рабы! Навьючьте мое неисчислимое добро на мой бесчисленный скот. Я буду кочевать за семь гор, за девять рек.

Белый скот качнулся, как трава, табуны тронулись, будто частый кустарник. Народ двинулся, как черный лес!

К вечеру переправились через две реки, через три горы. Сюмелу-пай немного опомнился, губу подобрал, пот со лба рукавом отер и говорит:

— Эй, приведите ко мне пастушонка, сироту Чимирика.

Чимирик всегда спал на голой земле рядом с собаками, ел из щербатого черепка.

На его ногах обувки нет, на его плечах шубы нет.

Снял Сюмелу-пай со своих плеч шубу, крытую черным шелком:

— Надень эту шубу, Чимирик.

Приказал Сюмелу-пай заседлать лучшего коня:

— Садись в седло, Чимирик.

Сирота-пастушонок в таком высоком седле никогда не сидел, на таком резвом коне не скакал, такой шубы не нашивал. Головы поднять не смеет, повод в руку взять не отваживается.

А Сюмелу-пай говорит ему ласково:

— На старом стойбище в моем восьмигранном аиле я оставил стрелу с бронзовым наконечником. Поскачи на стойбище, Чимирик-малыш, дитя мое, привези мне стрелу.

Поскакал Чимирик на старое стойбище, спешился, вошел в кошемный восьмигранный аил Сюмелу-пая и чуть не упал со страха. Возле костра спал-храпел человек, на человека непохожий, зверь, на зверя непохожий. Стрела с бронзовым наконечником висела в колчане над головой спящего. Чимирик только руку протянул, а спящий уже проснулся. Глаза у него — два

кипящих котла, зубы — острые ножи. Чимирик ногой дверь толкнул, выскочил из аила.

— Постой! Погоди, милое дитя! — закричал алмыс тонким голосом. — Глаза твои полны огня, грудь твоя полна ума, дай мне твою правую руку, скажи мне, где хозяин твоей черной крытой шелком шубы, где хитрый Сюмелу-пай?

Чимирик руки алмысу не дал, о Сюмелу-пае ничего не сказал. Прыгнул в седло, хлестнул коня. Но конь с места не идет, только головой мотает. Оказывается, алмыс схватил коня за хвост, держит, не отпускает.

Чимирик спрыгнул на землю и побежал.

Алмыс в три глотка проглотил коня и пустился за Чимириком. Бежали сквозь леса, перепрыгивали через ручьи.

Прибежал Чимирик к берегу черного озера. Дальше пути нет.

На берегу озера поднимался к небу железный тополь с бронзовыми ветвями. Чимирик спрятался за железный ствол толщиной в десять обхватов. Алмыс за ним. Так бегали они кругом тополя, алмыс ни на шаг не отстает. Вот уже ухватил алмыс своей когтистой лапой кушак черной шелковой шубы. Но Чимирик вытащил нож из кожаных ножен, рассек кушак. Алмыс с кушаком в руках упал на спину, а Чимирик полез вверх по стволу тополя. Алмыс вскочил, а Чимирик уже на самой высокой ветке.

Заохал алмыс, даже заплакал:

— Чуть-чуть опоздал я этого Чимирика за ноги вниз стащить...

Выхватил из-за пояса острый, как молодой месяц, топор и ударил по стволу железного тополя. Два дня, две ночи, не отдыхая, рубил.

На третье утро заскрипел, зашатался железный тополь. Еще осталось раза два топором ударить, и дерево упадет, да ноги уже не держат алмыса, руки его уже не поднимаются.

— Устал я, — вздохнул алмыс. — Э, да ладно! Надломленное дерево не выпрямится, Чимирик-малыш никуда не денется. Отдохну-ко я маленько.

Сел на землю, прислонился спиной к стволу и заснул.

А сирота Чимирик смерть свою совсем близко видит. Громко-громко заплакал он.

Вот уже заворчал, заохал спящий алмыс. Проснется, ударит топором по тополю, и Чимирику конец.

По дну синего неба кружил серый сокол, добычу искал, круглыми глазами кругом смотрел. И увидел на вершине тополя мальчика в черной шубе.

— Почему ты сидишь здесь, малыш? О чем плачешь так горько?

— Как не плакать? Под деревом спит алмыс-людоед, проснется и меня съест.

— Где же твои отец и мать?

— Нет у меня ни отца, ни матери. Сирота я, раб Сюмелу-пая. Его скот пасу, кроме двух серых собак, никто со мной не знается.

Сокол распрямил крылья и улетел. Он спешил на пастбище Сюмелу-пая, он искал двух серых собак.

Сколько времени сидел Чимирик на ветке сломанного тополя, сколько времени алмыс под деревом спал, кто знает? Вдруг черная пыль с земли к небу поднялась, белая туча с неба на землю упала. И увидел Чимирик двух серых собак, двух своих верных друзей. Язык свисает у них изо рта, как красное пламя, длин-

ные хвосты по земле стелются. Вцепились серые собаки острыми клыками в алмыса и потащили его к черной воде черного озера.

— Слушай, верный наш Чимирик, — сказал старший пес, — мы нырнем вместе с алмысом в озеро, и если всплывет черно-бурая кровь, смейся, радуйся. Если красная кровь на воде покажется, плачь, горюй.

Собаки потащили алмыса под воду.

Чимирик соскочил с дерева, смотрит на воду, ждет. Вот показалась черно-бурая кровь. Чимирик подпрыгнул, в ладоши захлопал. Но тут всплыла кровь — красная. Загоревал Чимирик, заплакал. Много-долго ли прошло, как опять выступила на воде красно-бурая кровь.

Чимирик погладил свои щеки и запел:

Льется, льется кровь алмыса,
Жирная, как масло, черная, как яд.
Эй, алмыс, людей глотавший,
Черной смертью погибай!

Как пропел эти слова Чимирик, так и вышли обе собаки из воды.

Молодая скачет, хвостом виляет, а старая сидит, рану на ноге зализывает.

— Надо целебной травы найти, — сказал Чимирик.

— Некогда, некогда, — ответил старый пес — Сперва надо Сюмелу-пая наказать.

Вот пошли искать стойбище Сюмелу-пая. Хромой пес все медленнее, медленнее идет. Потом и вовсе на свой хвост сел:

— Нет, вровень с вами шагать не могу. Ступайте сами, а я останусь в лесу.

— Небом и землей клянемся, — сказал Чимирик, — как Сюмелу-пая победим, сюда вернемся.

И осталась серая хромая собака одна в чащобе дикого леса.

Месяц прошел, друзья не вернулись. Другой месяц прошел, а друзей все нет и нет.

«Если убиты, кости их неведомо где сохнут. Если живы, должно быть, уже не придут», — подумала хромая собака и заплакала:

— Сюмелу-у-у-пая победи-и-или, а меня забы-ы-ы-ли...

И так тоскливо стало серой хромой собаке, что она еще дальше в лес убежала, еще громче заплакала.

К людям серая собака теперь не выходит, на зов не отзывается, хвостом не машет. Лаять она отвыкла, а как вспомнит Чимирика и вторую собаку, снова горько-горько плачет и воет одна в глухом лесу.

И дети и внуки серой собаки не лают, а воют и убегают от людей.

А люди зовут их волками.

Сколько зим с той поры растаяло, сколько весен отцвело, не ведаем, сколько лет минуло, никто не считал, куда ушел сирота Чимирик, где вторая собака, никто нам не мог рассказать. За это время скалы рухнули, горы выросли. Там, где леса шумели, камни обнажились, на голых камнях тайга выросла. Давно все это было, а теперь только сказка осталась.

СТРАШНАЯ СКАЗКА

Давным-давно на Алтае жили брат и сестра. Брата звали Бородлой-мерген, а сестру Барабош-Ару. Они жили вдвоем в безлюдном лесу.

Вот однажды брат собрался на охоту и говорит сестре:

— Ты без меня печень марала не жарь. Собольим одеялом не покрывайся, на лесистую гору не ходи.

День прошел и другой миновал, а брата нет. Семь дней прошло, а брата все нет и нет. Скучно стало Барабош-Ару одной в безлюдном лесу, вот она и подумала: «А что случится, если я изжарю маралью печень?»

Взяла нарезала печень, нанизала куски на палку, палку воткнула в землю у костра. Сама на соболье одеяло села, сама не помнит, как уснула. Далеко ли, близко ли была во сне, никому не ведомо. Только как проснулась — видит: черная пена на печени вздулась, костер залила. Испугалась Барабош-Ару: «Как жить без огня одной в лесу?» Огниво-то брат с собой на охоту унес. «Где теперь огня взять?» — думает Барабош-Ару.

Побежала она на лесистую гору: людей поискать, у них огня попросить. Темные леса она опушками обходила, у быстрых рек мелкий брод искала. Долго ли, коротко ли шла, но вот с вершины горы увидала — далеко в синем небе светится тонкий, как конский волос, белый дом. Обрадовалась, поспешила туда, пришла к маленькому, крытому камышом аилу. Толкнула

дверь и чуть не умерла от страха. Вперед, через порог, не смеет переступить, назад бежать — нету сил, будто ноги пустили в землю глубокие корни.

На женской стороне аила перед костром лежала старуха. Она одно ухо под себя подстелила, а другим, как одеялом, покрылась.

— Э-э-э, сестреночка, дитя мое, — сладким голосом пропела старуха. — Если уж пришла, то входи.

Вежливая Барабош-Ару вошла и молвила:

— Позвольте, бабушка, я у вас вшей поищу.

Старуха положила голову девочке на колени. И Барабош-Ару осторожно это зверье выбирала и кидала в огонь. Потом расчесала старухе волосы, заплела косы и говорит:

— Разрешите, бабушка, из вашего костра головешку взять, у меня дома костер погас.

Старуха позволила.

Обрадовалась Барабош-Ару. Прибежала домой, зажгла большой костер, до неба взвилось желтое пламя. «Ну, — думает, — зажарила я печень марала, а что случилось? Погас костер и вот он горит! Собольим одеялом покрывалась, а что случилось? Поспала и проснулась. На лесистую гору ходила, огня там добыла. Сейчас опять на подол горы пойду, дикого чесноку, луку соберу».

Только хотела выйти за дверь, но будто кто держит ее, держит, не пускает. Обернулась и видит: к подолу шубы пристала едва различимая глазом прозрачно-тонкая нить. Барабош-Ару выхватила нож из-за пояса, отсекла нить, побежала к ярко-голубой скале.

— Ярко-голубая скала, отворись! Мою жизнь спаси.

Ярко-голубая скала отворилась и закрыла в себе девочку.

А конец нити, что Барабош-Ару отсекла, пристал к порогу. Ни ветром его не сдуть, ни дождем не смыть. Другой конец держала ушастая старуха. Наматывая нить на палец, она шла по долинам, по холмам. Через бурные реки одним шагом перешагивала, сквозь частые леса напрямик проходила. Там, где меж стволами и змее не проползти, пролезала старуха, где мухе не пролететь, она проскакивала.

Вот пришла к аилу брата и сестры, отворила дверь, а там нет никого.

— Котел, котел, — запела старуха, — где Барабош-Ару?

— Если бы Барабош-Ару жива была, — ответил котел, — я бы холодный здесь не пылился. Во мне кипело бы жирное мясо.

Старуха ногой разворошила костер:

— Огонь, огонь, где Барабош-Ару?

— Ох, ох! — вспыхнул огонь. — Когда бы Барабош-Ару жива была, я бы ста слоями пепла не был покрыт, я бушевал бы, полыхая жарким пламенем.

Старуха подошла к кровати:

— Кровать, кровать, где Барабош-Ару?

— Умерла наша верная Барабош-Ару-у-у... — застонала кровать.

Тогда старуха полезла под кровать. Там лежали зазубренные палки — эдирек. Этими палками Барабош-Ару шкуры звериные разминала, выколачивала, чтобы одежда, из шкур пошитая, мягкая, легкая была бы.

— Она жива, жива, жива! — застучали эдирек. — Она вернется, нас опять стучать заставит. Пойдите, бабушка, к ярко-голубой скале.

Старуха побежала к ярко-голубой скале, опустилась на правое колено, погладила левую косу:

— Ярко-голубая скала, выдай мне Барабош-Ару!

Но тут как раз с охоты пришел Боролдой-мерген! Увидал ушастую старуху, снял с плеча тугой лук, натянул упругую тетиву, спустил литую семигранную стрелу.

С ни человечьим, ни звериным криком ушастая старуха вверх животом упала. Из круглой раны посыпались люди. Все они с кулаками подступили к Боролдой-мергену. Как галки разом загалдели:

— Кто просил тебя нас вызволять? Кто просил старуху убивать? Плохо ли было нам у нее в утробе? Солнце не видели? Подумаешь! Зато дождя и снега не знали. Цветов не нюхали? Вот еще! Зато и мороз нас никогда до костей не пробирал. Не хотим жить на воле. На что нам вся земля, если здесь гремят громы, дуют злые ветры... Не хотим! Хотим обратно к старухе в утробу.

Но тут выскочили на свет еще и другие люди. Эти, плача и смеясь, целовали меткого охотника:

— Нам, солнца не знавшим, ты солнце дал! Луны не ведавшим, луну подарил. Будь же ты как заяц белый, как овца жирный. Сто лет живи, проворным конем владей!

Когда весь народ — и те, кто радовался, и те, кто грозился, разбрелись по густой траве искать себе места для стойбища, Боролдой-мерген увидал сестру свою Барабош-Ару. От счастья брат радостные слова позабыл. Нежно ладонями ей щеки отер и тихо сказал:

— Ыйлаба, сыйным! Не плачь, сестра! Жить хорошо.

КАК МАЛЬЧИКИ ПОБЕДИЛИ АЛМЫСОВ

Давным-давно на Алтае жили два брата. Старшего звали Телезек, младшего — Кобегеш. Однажды зимним днем братья охотились. Следов на снегу много видели, зверя ни одного не добыли.

Солнце западного края земли коснулось, заря по краю неба разлилась, и снег заиграл переливчато, уже и братья домой собрались, как вдруг на сверкающее инеем ребро горы выскочила дикая тэке-коза.

Голову подняла, туда-сюда повернула — понюхала, ушами повела — прислушалась.

Телезек, долго не целясь, послал стрелу. Но стрела задела козу только чуть-чуть по рогам. Тэке-коза встрепенулась и, подобно крылатой птице, перелетая с камня на камень, прыгнула на крутое плечо горы.

Теперь прицелился Кобегеш. Он натянул тетиву так сильно, что лопатки за спиной сошлись. Когда с тетивы стрела сорвалась, из-под большого пальца его правой руки дым пошел. Но пущенная стрела задела козу только чуть-чуть по передним копытцам. И коза, едва касаясь земли, пустилась вверх по каменной россыпи к голове горы. Кобегеш за ней! Но поскользнулся, упал. Ногу сломал.

Телезек хотел было отнести брата на своей спине вниз, домой, но такая метель поднялась, что Телезек сам чуть не упал. Опустил он Кобегеша на землю, кругом посмотрел и увидел небольшую пещеру. При-

тащил туда, сколько мог собрать, сухостоя, зажег костер, уложил брата на только что срубленные кедровые ветки, сам рядом лег.

Утром проснулись — небо чистое, ветра нет.

— Положи меня здесь у костра, милый брат, — сказал Телезек. — Я пойду хоть зайца, хоть белку добуду, мяса поедим, живот согреем.

И остался Кобегеш в пещере один. Весь день ждал, но брата нет и нет. Уже и край неба погас, только снег еще чуть-чуть светился, и тут увидал Кобегеш — вышла из темного леса женщина. Ее луноподобное лицо как золото блестит, брови бархатно-черные, на одежде шестьдесят пуговиц. Волосы в шестьдесят шесть кос заплетены. В косах синие бусины, каждая с лиственничную шишку. Ударяясь о пуговицы ее одежды, бусины в ее косах звенят.

Вошла в пещеру, протянула руки над костром — и вот встал на треногу медный котел, взмахнула рукой — вот оно берестяное ведро с водой. Налила воды в котел, достала мясо из своего рукава. Положила в котел. Потом подошла к Кобегешу, погладила ногу — сломанные кости срослись, пальцы и ногти согрелись.

С того вечера осталась женщина в пещере. Поставила она вместе с Кобегешем два столба у входа, навесили дверь, устроили порожек. Кобегеш охотился, она еду варила, шкуры звериные очищала, разминала, шила теплую одежду.

Сколько ходил-искал своего брата Кобегеш — следов не нашел, как самому вниз спуститься — не знает. Вокруг пещеры лес вырос непроходимый, даже мухе между деревьями не пролететь.

Прошел год. Родила женщина сына.

Чтобы жену свежей дичиной порадовать, взял Кобегеш свой словый лук, колчан со стрелами, вышел поохотиться. Много-долго не прошел — спохватился: любимая стрела с медным наконечником в пещере осталась. Вернулся, отворил дверь и видит: дикая тэкекоза через костер скачет.

Сердце у Кобегеша в живот ушло, спина озябла. Понял он, что жена его — алмыска. Глянула коза на Кобегеша, через порожек перескочила и убежала.

— Кобегеш! Кобегеш! — послышался далекий крик.

Узнал Кобегеш голос своего брата, испугался, завернул мальчика в звериную шкуру, положил в сундук.

А Телезек уже и дверь отворил, через порог переступил.

Мясо на ногах Телезека до костей стерлось, шуба присохла к плечам, волосы сквозь шапку проросли.

— Долго искал я тебя, милый брат, — произнес Телезек. — Как жил ты один в лесу?

Кобегеш голову поднять не смеет, взглянуть на своего брата не решается. Лгать не хочет, правду сказать — страшится.

Но тут вдруг проснулся мальчик в сундуке и заплакал.

Кобегеш откинул крышку и, не таясь, все поведал, как было.

Телезек сказал:

— Звереныш мехом обрастает, птица — пером. Но человек живет, чтобы прославить свое имя.

И дал он мальчику имя — Алмызак, в память о его матери-алмыске.

Спустились вниз и стали все трое в одном аиле жить.

Метким охотником вырос Алмызак. Однако верхом он никогда не ездил. Если выберет себе коня в табуне, заарканит, к аилу приведет, конь той же ночью умчится неведомо куда, к утру вернется неведомо откуда весь в пене, на передние ноги упадет и уже не встанет.

Вот решили братья узнать, кто ночами гоняет коней Алмызака. Собрали они смолы, обмазали спину коня и отпустили. Утром вернулся конь, а к спине присмолились, оказывается, белые, как зайцы, алмысы.

Братья схватили свои тугие луки, меткие стрелы, Алмызак поднял пику с бронзовым наконечником.

Алмысы все, как один, громко заплакали:

— Шурин Телезек, пощадите нас! Зять Кобегеш, мы уйдем от вас. Сынок Алмызак, будем тебе как рабы служить...

— Небом клянитесь!

— Клянемся!

— Землей клянитесь!

— Клянемся!

— Клянитесь огнем и водой!

— Клянемся!

Алмызак снял алмысов с лошади, обтер мохом и травой. Алмысы, от смолы освободившись, быстрее зайцев убежали. И на том стойбище больше никто не встречал их.

Лошадь хоть и богатырская, но когда-нибудь падает, ведь она не золотая. Человек хоть и герой, а когда-нибудь умрет, он ведь не вечный. Состарились, умерли двое братьев Телезек и Кобегеш. Давным-давно умер и сын алмыски Алмызак. От их аила даже щепки не осталось, от стойбища даже пепла не осталось. И толь-

ко долгими осенними ночами пели старики своим внукам эту сказку.

Вот однажды пятеро мальчиков пошли золотой осенней порой на подол горы кедровать. На деревья карабкались, ногами по ветвям стучали, спелые шишки сбивали. Потом бегали по поляне, складывали шишки в кучу, собирали в сумины.

Но вот из-за деревьев появились маленькие людишки, как белки они зацокали, как птицы засвистели. Мальчики швырнули в них кедровыми шишками. Человечки своими когтистыми пальцами быстро-быстро вылущили из шишек сладкие орешки, вместе со скорлупой сгрызли.

Мальчики смеялись, человечки прыгали и кувыркались. Так, забавляясь все вместе, подошли к входу в черную пещеру.

— Тебя как зовут? — спросили человечки одного мальчика.

— Чопош.

— А-а-а-а, Чопош! — обрадовались человечки и потащили мальчика в пещеру.

— А тебя как зовут? — спросили второго.

— Итлаш.

— Иди-ка и ты к нам! — утащили и второго мальчика, уже тянут свои лапы к третьему: — Назови свос имя.

Но тот вспомнил старую сказку.

— Имя мое Телезек! Вы небом клялись.

Алмысы все, как один, лицом вниз на землю упали:

— Чего изволите, шурин наш, Телезек?

— Сейчас же отдайте двух мальчиков!

Алмысы тут же вернули двоих детей, и сами уже несут к четвертому:

Как тебя зовут?

Я Кобегеш! Вы землей клянись.

О-о-о-о, застонали алмысы, что угодно вам, вить наш, Кобегеш?

Дайте нам пять бычьих пузырей, полных масла, пять мешков толкана, пять связок курута.

Алмысы с низкими поклонами принесли масло, толкан и курут. А сами уже шепчутся в пятого, тащат за воротник и за подол.

Ты кто?

Имя мое Алмыгак!

Алмысы два раза посинели, два раза почернели, совсем серые стали и чуть слышно молвили:

Что прикажешь, родной Алмыгак?

Войдите в пещеру, поверните синюю скалу и закройте вход. Поверните зеленый холм и закройте выход.

Алмысы вошли в пещеру, сдвинули скалу и закрыли вход. Горько плача, подвинули зеленый холм и закрыли выход.

А мальчики с громкой песней вернулись на свое стойбище и угостили родных толканом, маслом и курутом.

От лопали белые кости остались, об алмысах сказка осталась.

КОНЬ, КОРОВА И ЗВЕЗДЫ

В старину, в дивскую старину конь и корова из одного ручья воду пили, одной тропой на пастбище ходили.

Вот однажды, летним днем, конь сказал:

— Сестра, а не спуститься ли нам в овраг? Там прохладнее.

Начали спускаться, вдруг корова замычала:

Мм-о, диля конь, мм-у-у! В овраге пожар!!

Конь посмотрел назад — понюхал, глазом повел посмотрел и увидел на дне оврага звездную россыпь.

Давай прилежным копытами эти звезды, пусть они на земле остынут.

— Я первая увидела, я первая попью!

— Твои копыта тоньше моих, ноги слабее — не удержишь.

Но корова диле коня не послушала, прыгнули вниз, на те звезды. Встрепенулись звезды, еще жарче разгорелись. Коровьи копыта треснули.

И через эту трещину звезды улетели со дна оврага на дно неба.

— И хо-хо! Теперь твои копыта на вилы похожи.

Мо-о, му-у-у... — заплакала корова. Диля ко-о-о-онь...

Вот с той поры конь и корова дружбу потеряли, а в небе появилось новое созвездие Ульгер.

ОХОТНИК КАДЖИГЕЙ

Жил на Алтае охотник Каджигей-мерген, Каджигей-меткий. Он ездил верхом на саврасом коне. Крепкий лук висел на плече Каджигея, на поясе висел колчан с быстрыми стрелами.

Ни зверь на бегу, ни птица на лету от метких стрел Каджигея-охотника спастись не могли. Рука его не дрожала, глаз не ошибался.

В юные годы охотился он, чтобы добыть мяса для еды, шкуры для одежды. Но чем дальше шло время, тем ненасытнее разил дичь Каджигей-мерген. Не оставлял он охоты ни весною, ни летом. Не зная жалости, бил птицу на гнезде, бил и зверя, кормящего детенышей.

Люди укоряли его:

— Если дичь переведешь, как будем жить?

— Когда не станет зверя здесь, на земле, — возражал Каджигей-мерген, — в верхний мир пойду, на седьмом небе буду охотиться.

Вот однажды весной собрался Каджигей на свою свирепую охоту. Сел на саврасого коня, кликнул верных собак — трехгодовалую, двухгодовалую и щенка. Много-долго не пробежали, как почуяли собаки зверя, пошли, опустив морды, по следу и подняли маралуху с двумя телятами. Побежали маралы по холмам, помчались по долинам, перепрыгивали через ручьи, переплывали реки.

Но собаки, не отставая, бегут, сам охотник верхом на саврасом коне тоже без отдыха мчится.

Много раз Каджигей-мерген снимал с плеча упругий лук, натягивал тугую тетиву, но стрелу спустить было неподручно, метко прицелиться было невозможно. Маралы то прятались в частом лесу, то скрывались в высокой траве и бежали, бежали, усталости не зная.

Собаки гнались за маралами днем и ночью, без роздыха. Саврасый конь скакал, то вытягиваясь, будто тонкая жила, то сжимаясь, как тугая мышца.

На седьмой месяц погони примчались маралы к самому краю земли, с края земли ступили на край неба. И дальше побежали по небу, между звезд.

Собаки за ними, туда же, на небо!

Лошадь захромала. Каджигей-мерген спешился, бросил коня и пеший пустился за тремя маралами.

— Теперь в чистом небесном поле я вас не потеряю.

На бегу Каджигей-мерген опять прицелился, спустил стрелу, да видно, поспешил маленько и первый раз в жизни промахнулся.

Белая чистая стрела полетела на запад, а маралы повернули к востоку. Каджигей-охотник с досады шапку скинул, опять прицелился. Вторая стрела всех трех маралов пронзила и, красная, окровавленная, полетела вперед.

Но подранепные маралы, шага не сбавляя, все так же ровно бегут. За ними спешат три собаки. Щенок уже хватает маралуху за голень задней ноги.

Однако маралы бегут, бегут, убегают от собак. Каджигей-мерген спешит, спешит! Однако не может он догнать маралуху с двумя телятами. И вечно движется эта погоня по небу одним неразлучным созвездием Трех Маралов. Так был наказан Каджигей — свирепый охотник.

КАК БОГАТЫРЬ САРТАКПАЙ ЛЮДОЕДА НА ЛУНУ ЗАШВЫРНУЛ

На белом, на синем Алтае по горам, по долинам кочевал в стародавние времена Дельбеген-людоед. У него семь голов, четырнадцать глаз. Днем он спал, ночью охотился, вместо дичи людей добывал. От его глаз ни старому, ни малому не скрыться. Из его лап ни силачу, ни герою не выскочить.

Как одолеть Дельбегена, люди не знали. И взмолились они, поклонились создателю неба, светил и огня богу Ульгеню, на седьмом небе восседающему:

— Вас, на белой кошме почивающего, в белую шубу одетого, с белой шапкой на белых волосах, просим — помогите!

Плач людей дошел до слуха семинебесного Ульгеня, и повелел он солнцу к земле спуститься, людоеда сжечь.

Стало солнце снижаться, к земле приближаться. От солнечного жара почернели деревья и травы, обмелели моря, высохли реки. Звери задыхались на холу, птицы вспыхивали на лету.

Заплакали люди, заголосили:

— Великий Ульгень, пощади нас, горим!

И приказал всемогущий Ульгень солнцу снова подняться и ходить впредь своей проторенной дорогой. К земле он луну послал, чтобы она людоеда заморозила.

Стала луна снижаться, к земле приближаться. Застыли моря, замерзли реки, обледенели вершины гор. Затрещали от холода кусты и деревья. Звери стыли на бегу, птицы замерзали на лету.

Заплакали люди, заголосили:

— Великий Ульгень, смилуйся, замерзаем...

И сказано было луне, чтобы от земли удалилась и прежним путем по небу ходила бы.

Вот луна удаляется, земля ото льда обнажается, трава из-под земли пробивается. Взыграл тут, еще пуще разгулялся семиголовый Дельбеген, еще свирепее начал на людей охотиться.

И снова заплакали люди, заголосили.

Но великий Ульгень откликнуться в третий раз на плач людей не пожелал.

Поклонились люди на третьем небе сидящему богу Курбустану, однако тот возразил:

— Если семинебесный Ульгень вашими печалями печаловаться не пожелал, то мне, тринебесному, и подавно вашими заботами тревожить себя не пристало.

Сказал так и тучами укрылся.

Но тут из далекой степи, где он охотился, вернулся на Алтай Сартакпай-старик. Он ехал верхом на седогривом коне, охотничьи сумины-арчимаки были тяжелы богатой добычей.

Сбросил старик на землю арчимаки, хлестнул коня и поскакал навстречу Дельбегену. Людоед своего синего быка ударил, из черных ножен черную саблю выхватил, о черную скалу наточил.

Сблизились богатыри. Взмахнул Дельбеген остроконечной саблей, однако Сартакпай голой рукой ухватил людоеда за воротник и выдернул из седла, хо-

тел было забросить его за семь гор, за семьдесят семь морей, да людоед успел за ствол тысячелетней пихты уцепиться. Никак его от дерева не оторвать.

Рассердился Сартакпай, выдернул пихту из земли и забросил вместе с Дельбегеном на луну.

Стал там на луне бушевать людоед, сколько ям своей пихтой наковырял. Стучал по луне и спрашивал:

— Чем я здесь кормиться буду?

Не вытерпела луна и говорит:

— Ешь меня, насыщайся половину месяца. А потом я тебя есть стану, пока снова не округлюсь. Тогда ты опять по кусочку меня есть будешь. Только не ковыряй своей пихтой.

— Ладно, — сказал Дельбеген, — я согласен.

Говорят, в прежнее время луна всегда круглая была, а теперь она то ущербляется, то прибывает.

ТАС-БЕРЮК

I

Давным-давно, когда на Алтае ни гор, ни холмов не было и земля алтайская плоская, как поднос, была, жил удалой человек Тас-Берюк Плешивый.

Вот однажды поджарил этот плешивый девять мер ячменя, намолол девять мешков ячменной муки-толкана. Надел на свою плешь берестяную шапку, спилил берестяную лодку, положил туда мешки с толканом, взял свой верный лук, взял девять метких стрел, повесил на пояс девять ножей, прыгнул в лодку и пустил ее вниз по Бию-реке к Оби, по Оби-реке подался к Ледовитому океану.

По дороге смешивал он в берестяной шапке толкан с речной водой, пил да похваливал. Когда в океан выплыл, смешал толкан с водой морской и едва только один глоток глотнул, как тут же девять раз выплюнул.

И выросла из каждого плевка ледяная гора, эти девять гор двинулись все разом на берестяную лодку. От ужаса у Тас-Берюка ум чуть не выскочил, от холода печень чуть не лопнула. Выпрыгнул Тас-Берюк из лодки на берег, шапку с головы потерял, сам поскользнулся, упал. Берестяную лодку ледяные горы, как орешек, раздавили. Шапка воды черпнула, сама потонула.

Ни шапки, ни лодки, ни мешков с толканом!

Тас-Берюк за пояс схватился — девять ножей здесь! Колчан с девятью меткими стрелами тоже цел, верный лук на плече висит. Сердце у Тас-Берюка повеселело, молодая кровь быстрее побежала по жилам, согрелся Тас-Берюк, вскочил, кругом посмотрел, увидел — на берегу стоит дом из льда и снега. Подошел, в дверь постучал. Дверь сама собою отворилась. Тас-Берюк вошел в ледяную комнату, на ледяном полу посредине пробита дыра до самого моря, над дырой очаг, сложенный из ледяных кирпичей, в очаге вместо огня морские волны белым пламенем бушуют, дно медного котла лижут, в котле варево шумит-кипит.

У снежной стены ледяная скамья. На скамье девица, белая как снег, черные косы до пола висят, в косах поют морские раковины, на одежде сверкают ледяные пуговицы. По ее правую руку старик с кудрявой, будто морская пена, бородой. По левую руку — старуха, белая, как выброшенная на берег щепка. По ее морщинистым щекам, словно частый мелкий дождь, текут и текут слезы.

— О чем плачете? — спросил Тас-Берюк.

Тихо, будто ручей прожурчал, ответила старуха:

— Наше любимое дитя, милую дочь оплакиваем.

Старик поднял глаза и загудел шумно, будто море:

— Наших сыновей пожрал двухголовый дракон с двумя языками. Ни нож, ни топор, ни стрела этого дракона не берут.

И тут вдруг из-под двери пополз в комнату раздвоенный язык длиною в семьдесят сажен и давай шарить по полу и по лавкам.

Тас-Берюк снял с пояса девять ножей, скрепил их гвоздем, получились ножницы с девятью лезвиями.

Лезвия щелкнули. Отрезанный язык скорчился, подскочил к потолку, упал на пол, почернел и укатился за порог.

Но под дверь пролез второй раздвоенный язык, начал бить по стенам, шарить по лавкам. Ножницы снова щелкнули, и второй язык загремел, почернел и укатился за порог.

Старик со старухою встали, обняли Тас-Берюка, поцеловали в обе щеки:

— Нам, холодным, вы кровь согрели, погибающим жизнь подарили, дочь нашу милую от смерти спасли.

Усадили Тас-Берюка на ледяную скамью, подали ему на ледяном подносе горячую еду, в ледяной чашке горячее питье.

— Наше кушанье отведайте — в десять раз сильнее прежнего станете, наше питье пригубьте — в двадцать раз краше станете.

Молчит Тас-Берюк: он и старуху обидеть не смеет, и есть из ледяной посуды страшится.

Так ни одного глотка не глотнул, ни куска не проглотил.

— Я морской старец, — говорит Тас-Берюку старик. — Если у нас останетесь, научу вас передвигать ледяные горы, приказывать тучам, всеми шестьюдесятью ветрами будете повелевать.

Едва старик умолк, снова зажурчала старуха:

— С нашей дочерью у вас одна постель постлана. Девятерых богатырей она вам родит.

У Тас-Берюка рука не поднимается плешь почесать. Язык во рту еле-еле ворочается:

— Спасибо вам, морские люди, за добрые слова. Однако сам я не морской, я на суше живущий чело-

век. Повелевать ветрами — не решусь, двигать ледяные горы не отважусь, тучам приказывать не осмелюсь. Заскорузлыми пальцами тронуть дочь вашу, как снег чистую, боюсь.

Морские старик, старуха и девица засмеялись и хохотали так громко, что сердце у Тас-Берюка в пятки ушло.

— Как зовут тебя, герой? — спросила девица.

— Тас-Берюк Плешивый.

И опять загремел, зазвенел, зашумел морских людей смех.

— Чего ты хочешь в награду, Тас-Берюк? — спросила старуха.

— Помогите домой вернуться...

— Теперь я не так прыток, как был в молодые годы, — загудел старик. — Вот если бы мне зайчатины поесть, заячьего супа попить, влилась бы в мою печень заячья удаль, вошла бы в мои жилы заячья прыть. И отнес бы я тебя в твою землю.

2

Тас-Берюк сшил себе меховую шапку, взял на плечо свой тугой лук, колчан с девятью стрелами и пошел на охоту.

Шестью стрелами он шестьдесят шесть зайцев подстрелил.

Морской старик поел черного заячьего мяса, попил крепкого заячьего супа и легко, будто бурундучка, посадил Тас-Берюка себе на плечо.

— Закрой глаза.

Тас-Берюк зажмурился, что дальше было, не помнит. Ветер свистел в ушах, дождь по шапке стучал. Много ли, мало времени прошло, старик сказал:

— Пришли.

Открыл глаза Тас-Берюк: увидал круглое алтайское небо, золотую алтайскую траву. Спустился со старикова плеча, низко поклонился, а как поднял голову, старика уже и не видно — только следы остались: там, где всей ногой ступал, — озеро блестит, где только пяткой коснулся — ручей бежит, где большим пальцем ноги дотронулся — ключ бьет.

3

Стоит Тас-Берюк среди просторной широкой степи, куда идти — не знает, в какой стороне родное стойбище — не ведает.

Вдруг взревело небо, загудела земля, две горы, на горы непохожие, толкаются, кувыркаются — это два богатыря дерутся, оказывается. Один другого за воротник шубы хватает, то к небу подбрасывает, то на землю швыряет. Богатырей двое, а головы три. Один богатырь двухголовый был.

Когда двухголовый свои две пасти разинул, ни в одной Тас-Берюк языка не увидел. И понял Плешивый — не богатырь это, а двухголовый дракон, которому он своими ножницами языки отрезал. Коленка об коленку у Тас-Берюка стукнулась, даже кисточка на меховой шапке дыбом встала. Заглянул Тас-Берюк в свой колчан — там три стрелы еще осталось. Снял с плеча свой верный лук, наложил на тетиву три метких стрелы и сразу спустил.

Как черная скала рухнул двухголовый дракон.

Второй богатырь, которого дракон издыхающий успел на землю повалить, теперь встал, двумя руками

пот с лица отер, выпрямился. Ноги дно долины подпирают, голова в дно неба упирается. На каждом плече отара овец встанет, на лопатках табуны лошадей могли бы уместиться.

— Кто победил двухголового зайсана змеев, драконов и чудищ? — закричал он, словно в бубен застучал.

От этого зычного голоса у Тас-Берюка ноги подогнулись, слова вымолвить он не может.

Ответа не услыхав, богатырь кругом посмотрел, увидал Тас-Берюка.

— Ты три стрелы пустил? Ты дракона убил? Двухголового зайсана ты победил?

— Ээ-э-э... Я-а-а... — чуть не плачет от страха Тас-Берюк.

— Ты?! Ну, тогда здравствуй, герой! Всеми подземными богатствами зайсана драконов теперь ты будешь владеть. Повелевать будешь всеми его народами — змеями, драконами и чудищами.

Такое услыхав, уши Тас-Берюка зашевелились, шапка меховая упала с головы.

— Тйох! Нет! — сказал он тонким голосом. — Не могу я змеями-чудищами повелевать, меня на стойбище ни одна собака не слушается. Ни драконов, ни сокровищ подземных не надо. Я не подземный, я на земле живущий человек Тас-Берюк Плешивый.

— А я Ойгор-богатырь. Проси чего хочешь, Тас-Берюк.

—Хотелось бы вернуться на свое стойбище...

Ойгор-богатырь посадил Тас-Берюка себе на шею.

— Зажмурься!

Тас-Берюк закрыл глаза. Ойгор-богатырь взмахнул палицей, подпрыгнул, и затрещало, зашумело в ушах

Тас-Берюка. Он только один раз моргнул — небо плыло с правой стороны, земля с левой качалась. Ойгор-богатырь подобно крылатой птице парил между небом и землей.

Когда Тас-Берюк в другой раз моргнул, увидал он внизу родное стойбище.

Опустился на землю Ойгор-богатырь, поставил Тас-Берюка впереди себя и сказал:

— Не вздумай никому говорить, что верхом у меня на шее сидел. А скажешь — сам погибнешь и всех людей на Алтае погубишь.

Взмахнул Ойгор-богатырь своей палицей, подпрыгнул, оторвался от земли и пошел шагать по облакам, по тучам.

4

Люди на стойбище как увидели Тас-Берюка, побежали ему навстречу.

Глаза у всех широко открыты — на Тас-Берюка смотрят, руки к ушам приставили — Тас-Берюка слушают.

Тас-Берюк быстро-быстро заговорил, язык его так спешил, что об зубы спотыкался. Рассказал, как в берестяной лодке шел по Бию-реке, как пришел по реке Оби в Ледовитый океан.

Похвалился, как ножницами с девятью лезвиями отрезал два языка у двухголового дракона. Вспомнил о морском старике, как для него шестью стрелами шестьдесят зайцев убил, как за это морской старец ему службу сослужил, на Алтай принес. Поведал и о морской девице, белой, словно снег.

— Девятерых богатырей она мне родила бы, если бы я с ней один костер зажег бы, одну постель постелил бы.

— Врешь, врешь! — засмеялись мужчины.

— Пусть дальше говорит, — закричали женщины и поставили перед Тас-Берюком подносы с горячим мясом, ташауры с аракой.

Тас-Берюк мяса поел, горячая кровь к щекам прилила, теплая кровь в сердце стучит. Араки отведал, и язык у него гладким, легким стал.

— Тремя стрелами я двухголового зайсана драконов убил!

Тут и женщины засмеялись.

— Не верите? А знаете, на каком коне я сюда прискакал? На шее Ойгора-богатыря я верхом без седла сидел!

Едва он эти слова произнес — небо почернело, земля посинела. Раздался рев, грохот, вой. Из-под земли, из-под воды, с неба прибежали, прилетели, приползли змеи, драконы и чудища. Изо рта у них пламя полышет, из ноздрей искры летят.

Впереди этого войска сам Ойгор-богатырь верхом на семицветном коне.

Люди, кто верхом, кто пешком, а кто и ползком, убежали в тайгу и там, подобно диким зверям, зарылись в норы, спрятались в кустарнике, взобрались на деревья.

Однако Ойгор-богатырь все же успел схватить Тас-Берюка за облезлый воротник:

— Ты посмел сказать запретные слова! Теперь тебе и тому, кто тебя слушал, не жить.

Тас-Берюк голову опустил, из глаз слезы льются:

— Не я говорил, арака говорила...

— Арака? — загремел Ойгор-богатырь. — Сейчас же чтобы она здесь была! Посмотрим, может ли арака говорить.

— Аррррака! — взвыли змеи, драконы и чудища. — Аррррака...

— Остановите ваше войско, великий богатырь, — взмолился Тас-Берюк, — подождите немного, пока женщины коров подоят, молоко заквасят, сделают чегень. Из чегеня приготовят вам араку.

Ойгор-богатырь остановил свое страшное войско, Тас-Берюк побежал в тайгу, к людям.

5

И вот сколько было на Алтае коров, всех подоили, сколько было молока, все заквасили. Приготовили чегень, слили в большой котел, закрыли крышкой, вставили трубу. Под котлом зажгли костер, и закипело варево.

Побежал по трубе пар и, остывая, застучал каплями по дну деревянной посудины. Старухи привязали к прутьям меховые кисточки, макали их, вытаскивали и облизывали, пробуя, хороша ли арака.

Все жарче разгорался костер, все чаще мелькали кисточки, все веселей улыбались старухи.

— Ох и крепкая получилась арака! Она Ойгора-богатыря победит.

Первую чочойку плеснули в огонь, чтобы неугасимо горел. Вторую поднесли Тас-Берюку, чтобы не робел.

Потом наполнили горячей аракой кожаные мешки-ташауры, повесили их по бокам седла. Тас-Берюк вско-

чил на резвого коня и повез араку Ойгору-богатырю, змеям, драконам и чудищам.

Отведал араки Ойгор-богатырь — глаза его потеплели. Глотнули змеи, драконы и чудища — разлилась арака по сухим жилам, размягчила твердые сердца, согрела вечно холодную кровь. А как по второму кругу чочойка пошла — глаза слезами налились, языки свесились изо рта до земли, голова качается, льется песня, пляшут кривые лапы. Сам Ойгор-богатырь спешился со своего семицветного коня и начал по земле ногами топать, притопывать.

Тас-Берюк едва успевал подливать в чочойку так весело ходила она по кругу.

Чудища толкали и швыряли друг друга то вверх, то вниз, хлестали хвостами по озерам и рекам. Сам Ойгор-богатырь прыгал, дрался и кувыркался всю ночь.

Утром опомнился да как захохочет:

— Гляди, Тас-Берюк!

Тас-Берюк кругом посмотрел — Алтая не узнал. Прежде Алтай гладкий, ровный был, а стал гористым, холмистым. На месте спокойных озер гремят горные реки, перекатываются водопады.

Ойгор-богатырь сказал:

— Вот теперь, Тас-Берюк, я тебе поверил, что не ты хвалился, будто на моей шее верхом сидел — арака хвалилась. Но и ты мне поверь: не я, не мои чудища всю алтайскую землю перепахали — арака это натворила.

Сел на своего семицветного коня и ускакал. Змеи убежали, улетели, уползли змеи, драконы и чудища те, которые еще могли бежать, лететь, ползти. И много-много их после араки так уснули крепко, что

до сих пор еще спят на алтайской земле, кто вытянувшись, кто скорчившись лежит. Тела их окаменели, лесом поросли, а все же как взглянешь — сразу видно, не горы это, а чудища с окаменевшей чешуйчатой кожей.

И все это Тас-Берюк Плешивый своей похвальбой натворил!

СЕМЕРО БРАТЬЕВ

В незапамятные времена, когда людей на Алтае еще не было, пришли сюда семеро братьев. Были они, как семь медноствольных лиственниц, крепкие, как семь бурых медведей, сильные, как семь серых волков, дружные.

Коня на земле не нашлось, который мог бы поднять хоть одного из них. Кочевали братья пешие, опираясь на семь медных посохов. Когда братья по земле шагают, быстрокрылой птице их не догнать. Если они по горам идут, легконогой кабарге от них не убежать.

Косы шестерых старших братьев были сединой, как инеем, подернуты, коса младшего черна, как крыло черного ворона.

Вот однажды после удачной охоты, сидя ночью у зимнего костра, братья призадумались.

— Мы, шестеро, состарились одинокими. Но седьмой еще молод. Однако на семи горах, на берегах семи рек, в семи лесах — людей не видно. Где найдем жену младшему брату?

Младший на небо посмотрел и молвил:

— Там, в стойбище Улькер-каана, живет светлоликая Алтын-солоны, стройная, как игла. С ней хотел бы я зажечь один костер, поставить один аил.

Эти слова еще не вспорхнули с губ, глаза, обращенные к созвездию Улькер, еще не мигнули, а братья уже на ноги вскочили, дичь, добытую на охоте, в

сумины положили, посохи свои медные подхватили и зашагали вверх по скалам и горам.

Вот поднялись на белую мраморную гору, на синюю гору взошли, на ледяную вершину черной горы вскарабкались.

Облака далеко внизу остались, звезды ходят совсем близко, старые — в золотых доспехах, молодые в доспехах из бронзы. Не спеша, степенно звезды движутся, подолами шуб медные посохи братьев задевая.

Однако, сказал младший, — мне, простому охотнику, разве отдаст Улькер-каан свою дочь Алтын-солоны?

Да, — отозвался старший, — мы родом-племенем не можем похвалиться, имен дедов-прадедов назвать не сумеем. Зато мы прямые, как лиственницы, отважные, как медведи, дружные, как волки.

И, стукнув посохами, братья шагнули с вершины горы на дно неба.

Почуяв людей, захрапели небесные кони, привязанные к золотой коновязи у входа в золотой шатер Улькер-каана.

Услыхав братьев, свирепые псы, прикованные золотыми цепями к серебряным колодам, сели от страха на свои хвосты и заскулили тонкими голосами, как слепые щенята.

Братья прислонили к семи граням золотой коновязи семь медных посохов, сдернули шапки и вошли в золотой шатер.

Гостей в шатре не сосчитать. Со всех семи небес, со всей земли собрались сюда на пир боги, чудища и герои.

Братья низко-вежливо пирующим поклонились.

Семиголовый Дельбегсн-людосд, увидев семерых братьев, семью глотками загрохотал, на семь разных голосов захохотал:

— А-а-а, ха-ха! А-а-а... Хорошее угощение сюда ко мне само на своих ногах пришло!

Кобон-очун-силач, сздящий на сине-сером коне, увидав семерых братьев, железную трубку изо рта не вынул, на братьев сквозь дым посмотрел, на их поклон не ответил.

Сын небесного царя Тенери-каана Темир-мизе-богатырь, сздящий на сером, как железо, коне, даже не обернулся. Кисточка на его лисьей шапке не шелохнулась, коса, перекинутая через левое ухо, не качнулась.

Сам Улькер-каан восседал на золотом троне с тремя ступенями. Глаза его — спокойные озера, нос — ровная гора, усы закинуты за плечи, борода до колен.

Низко-низко правую бровь поднял, левый глаз прищурил:

— Вы, семеро, безлошадные, вы, семеро, бездомные! Мой шатер земным духом не поганьте, овчинными тулупами моих гостей не смешите!

Семь дней, семь ночей стояли братья, дары свои предлагая.

Улькер-каан на подарки не смотрел.

— Земные жители, обратно на землю идите!

Но братья стоят прямые и крепкие, как лиственницы, отважные, как бурые медведи, дружные, как серые волки.

— Работу осилим, какую пожелаете, службу сослужим, какую прикажете. Даров наших не отвергайте,

просьбу нашу выслушайте. Мы сватать пришли дочь вашу Алтын-солоны.

Улькер-каан в ответ усмехается:

— Костер, из двух смолистых ветвей сложенный, будет жарко гореть, детям двух небесных кааноз в одном шатре хорошо будет жить. Молодой Темир-мизе-богатырь и юная Алтын-солоны друг для друга предназначены, друг другу обещаны.

— Прикажите полдневное высокое солнце достать — достанем, повелите десятидневную луну к порогу прикатить — прикатим.

— Ну ладно, — вздохнул Улькер-каан, — одолейте черного марала, у которого на рогах семьдесят отростков. Своими рогами этот марал звезды с неба снимает, себе под ноги швыряет и топчет передними копытами. Живет тот марал у берега семи морей, у подножия семидесяти гор с семьюдесятью отрогами. Кто маральи рога принесет и поставит их перед моим шатром вместо коновязи, кто из шкуры марала аркыт — мешок для кислого молока сошьет, тот и посватает Алтын-солоны.

Семиголовый Дельбеген прежде всех с белой кошмы поднялся. Он выбежал из шатра, поймал своего синего быка, ухватился за кривые рога и вскочил в широкое седло.

Яростно крича, свирепо свистя, кулаками быка подбадривая, мчался Дельбеген к берегу семи морей, к подножию семидесяти гор с семьюдесятью отрогами.

Сын небесного царя Темир-мизе-богатырь, размахивая восьмихвостой плетью, скакал быстрее ветра на своем сером, как железо, коне.

Кобон-очун-силач, своего сине-серого коня не щаля, летел как стрела, пущенная с тугой тетивы.

Семеро братьев, на семь медных посохов опираясь, позади всех пешком, не спеша идут. Семеро пеших братьев за семь шагов семь верст позади себя оставляют. За семь дней семеро братьев на семь переходов обогнали Дельбегена.

Дельбеген от злости совсем коричневый стал:

— У-у-у! Этих братьев догоню-у-у! Этих братьев проглочу-у-у!

И вот братья уже слышат тяжелый бег быка, уже видят впереди себя на дороге тень остроконечных рогов.

Старший брат вытянул шею, заглотил горное озеро и выплюнул его на дорогу.

Но уже слышен топот серого, как железо, коня, уже видна на дороге тень восьмихвостой плети Темир-мизе-богатыря.

Второй брат протянул руку к горному кряжу, вырвал лесистую гору и выставил ее на дорогу.

Но уже слышен звон сбруи сине-серого коня, видна на дороге тень железной трубки Кобон-очун-силача.

Третий брат поднял тысячепудовый гранитный валун, сжал в кулаке и швырнул на дорогу острые осколки.

Братья первыми пришли к берегу семи морей. Четвертый брат взбежал на семьдесят гор с семьюдесятью отрогами.

Спасаясь от крика, каким четвертый топал, черный марал выскочил на самый высокий утес семидесятого отрога. Голова его — выше туч, рога за звезды цепляются.

Пятый брат сквозь тучи, сквозь облака увидел зеленые рога с семьюдесятью отростками. Снял он с плеча железный лук, тетиву резко натянул, даже лопатки за спиной стукнулись, от большого пальца правой руки дым пошел. Быстрая стрела маралу сердце пронзила.

Много-долго не прошло, вернулись семеро братьев в стойбище Улькер-каана. Они поставили ветвистые маральи рога вместо коновязи против серебряной двери золотого шатра. Аркыт — мешок для кислого молока, сшитый из маральей шкуры, шириной с долину, они положили к ногам каана.

Улькер-каан, восседавший на золотом троне с тремя ступенями, на добычу даже не взглянул, в лицо братьям он не смотрит. Один глаз к луне скосил, другой к солнцу:

— Сам я охоты вашей не видел, песни о подвигах ваших не слыхал. Подождем остальных охотников.

Прежде всех уехавший семиголовый Дельбеген вернулся через семь лет. Через десять лет спешился у шатра Темир-мизе-богатырь. Вместе с ним прискакал Кобон-очун-силач.

Улькер-каан вздохнул, голову опустил, глаза его туманом заволокло.

— Свою дочь Алтын-солоны тому отдам, кто самое красивое сказание — кожон споет.

— Я, я, спою-у-у! — заревел на семь голосов семиголовый Дельбеген.

От его пения птицы слетели с насиженных кладок, звери убежали, детенышей своих покинув, скот умчался с голубых небесных пастбищ неведомо куда.

— Однако вы очень плохо поете, — сказал Улькер-каан, — замолчите, пожалуйста. Белого скота нашего

не гоните, жителей наших не пугайте, стойбище наше не разоряйте.

Дельбеген от стыда синим стал, как его синий бык, быстро вскочил в высокое седло и умчался.

Теперь запел молодой Темир-мизе-богатырь. Вместе с ним пел и Кобон-очун-силач.

От унылой этой песни, от тоскливых голосов птицы на лету уснули, звери на ходу спят.

— Ваша сказка — кожон совсем никудышная, — рассердился Улькер-каан, — сейчас же замолчите.

Кобон-очун и Темир-мизе-богатырь друг на друга не смотрят, собираются, снаряжаются, по домам спешат.

Шестой брат взял в руки свой звучный топшуур, пальцами тронул струны, густую песню протяжно повел.

Пугливые птицы к стойбищу прилетели, слушают. Дикие звери прибежали, вокруг стойбища стоят, слушают. Деревья, хвоей не шелестя, слушают. На сухостое почки живым соком налились, кожура треснула, молодые листья к певцу, как к солнцу, потянулись. Теплый-теплый дождь на стойбище пал, теплый-теплый ветер повеял, солнце повыше поднялось, и семицветная радуга на плечи певцу встала.

Слов нет рассказать, до чего красивая была эта песня.

На далекие созвездия смотрел Улькер-каан, эту сказку слушая.

Колени его ослабли, нижняя губа вытянулась, слезы на бороду падают. Четыре дня слушал, головы к подушке не приклоняя:

— Нет, этих семерых братьев я не могу победить.

И тут в одежде, сотканной из лунного света, вышла сама Алтын-солоны стройная, как игла.

Седьмой брат на правое колено пал, за правую руку Алтын-солоны взял:

— Мы двое один костер на земле разожжем.

— Один шатер поставим, — отозвалась Алтын-солоны и вместе с семерыми братьями стойбище отца своего покинула.

Улькер-каан нижнюю губу до крови прикусил, ногой топнул, лодыжку свихнул.

Горькие слезы Улькер-каана падают на землю густым дождем.

— Этих семерых братьев я жестоко покараю.

А братья в просторном аиле пируют, песни поют, справляют свадьбу младшего и Алтын-солоны.

Вдруг с неба посыпался огненный град, упало жаркое звездное пламя.

— Ой, братья мои, — вскричал младший, — на нас идет небесное воинство!

Старший брат поднял ледяную вершину горы Белухи, и братья укрылись за ледяной стеной.

Огненный град пал на ледник и стучал не переставая, белое звездное пламя бушевало не умолкая, и бурные реки талой воды побежали со стен ледяного аила.

— Алтын-солоны, — кричал Улькер-каан, — сейчас же домой вернись!

— Отданная человеку, я с людьми не расстанусь, — отвечала Алтын-солоны.

Тут с неба звезды, как мошкара, посыпались, земные угодья поджигая.

Братья сурово наверх посмотрели:

— Не даете нам на земле жить? Хорошо! Мы пойдем к вам на небо.

Алтын-солоны, светлая звездочка, ни на шаг от своего мужа не отстала.

Поднялись на небо и встали развернутым строем: семеро братьев и рядом с седьмым — верная Алтын-солоны.

Открыто сразиться с семью братьями Улькер-каан не смеет, все хочет он со своим воинством зайти с тыла. Но братья всегда настороже, всегда поворачиваются лицом к Улькеру.

Так вечными противниками стоят они на небе друг против друга.

ТАНЗАГАН — ОТЕЦ АЛТАЙЦЕВ

Давным-давно жил на Алтае старик Танзаган. Он ездил верхом на маленьком рыжем коне. Зубы у старика, как ячменные зерна, пожелтели, кожа высохла, бороденка белая стала, как у белого козла. Но сам старик легкий, быстрый был. Он не водил скота, не пахал земли, а жил охотою. Кочевал по дикой тайге, жил среди зверей и сам стал похож на лесного зверя.

Его узкие глаза видели ночью ясно, как белым днем. Уши его, заросшие щетиной, слышали барса в горах и крота под землей. Нос чуял птицу в небе и рыбу в воде.

Однажды ехал старик Танзаган по глухой тайге, и вдруг открылось ему круглое, как небо, озеро. На берегу дрались два не сказать богатыря, не скажешь героя, а две лягушки-великанши. Одна белая, другая бурая. Они ревели, будто быки, скакали, словно сарлыки, как в песнях воспетые славные герои, швыряли друг друга то вверх к небу, то вниз в бездну.

Старик Танзаган на эту битву молча смотрел. Сколько на земле жил, такого не видывал.

Бурая лягушка вздулась, будто большая гора, и стала теснить белую к воде.

— Ква-а-а... — вскричала белая лягушка, — ква-а-а... Неужто на голубом Алтае, на белом Алтае никто не придет помочь?

Танзаган-старик тронул поводом своего маленького рыжего коня. Рыжий конь, мелко-мелко ногами

перебирая, легкой трусцой к самому берегу озера прибежал.

– Почему дерётесь? — спросил старик.

Бурая лягушка в ответ только глазами сверкнула да огромной лапой погрозила.

А белая заплакала. Слезы, будто крупные хрустальные пуговицы, так и посыпались из глаз.

Старик Танзаган повернулся в седле, поднял плеть и вытянул бурую лягушку по круглой спине. Та, даже не вскрикнув, мертвая упала.

Белая, поджав передние лапы, Танзагану-старику поклонилась:

— Мою жизнь вы спасли, славный богатырь. Эта бурая алмыска со своим войском все озеро заполнила. Сама-то погибла от вашей плети, но войско осталось. Никого к воде бурые алмысы не пускают. Кто к озеру подойдет — убивают, кто сам не подходит — того силой тащат. Капли воды моему народу глотнуть не дают.

Видно, придется мне воевать, с кем никто не воевал, — вздохнул старик, — придется сразиться, с кем не сражались алпы в бронзовых доспехах, придется драться, с кем не дрались герои в доспехах из меди.

Почтенный Танзаган, — возразила лягушка, — этих бурых чудищ не берет меч из бронзы, не возьмет и стрела с медным наконечником: убить их может только кровь рыжего коня.

— Если коня убью, как буду жить! Пешком ходить я не могу.

Лягушка смотрит на него глазами светлыми, как янтарь, зрачками темными, как агат:

— Не за себя прошу, за свой народ. Худого мы никому не желаем, зла не творим. Коня своего заколите, конскую кровь в озеро спустите.

Взглянул Танзаган на своего маленького рыжего коня, сердце от жалости крохотным стало. Отвернулся старик, спешился, вытащил из темных камышовых ножен светлый нож, тронул острым лезвием шею коня.

Из синей жилы тихо полилась темная кровь, из круглой жилы брызнула кровь ярко-алая.

Верный конь на передние колени пал, уронив голову на рыжую гриву. Его горячие глаза потускнели, теплые губы похолодели.

От темной крови коня, от его алой крови озеро закипело. Кровь свернулась, и озеро затвердело, как сухая кора. В этой сухой крови черные чудища навек погребены.

А старик Танзаган сел на гнилой пень и заплакал:

— Ноги мои — коня я зарезал, крылья свои — коня я убил. Друга-товарища заколол...

Белая лягушка подошла, протянула желтую ленту:

— Мою благодарность примите.

Но старик ленты не берет, даже взглянуть не хочет.

— Уважаемый богатырь, мой народ не обижайте, от подарка не отказывайтесь. Перед заходом солнца ленту двумя пальцами поднимите, взмахните. К утру любое желание будет исполнено.

Положила ленту у ног старика, и больше ни слова. Где была — следа нет, куда пошла — слуха нет.

Сунул Танзаган ленту в кисет и зашагал раскоряко́й. Ногами стебли и травы цепляет, об корни деревьев спотыкается. Ветки по голове стучат.

Перед заходом солнца сел на землю, собрал сухой валежник, снял с пояса огниво, высек искру, пламя

охватило хворост. Теперь Танзаган взял двумя пальцами ленту из кисета, взмахнул.

— Завтра, чуть свет, пусть лежат здесь, у моего костра, две маральи туши, — сказал так, лег и уснул.

Утром проснулся, смотрит — две жирные маральи туши у костра лежат, а рядом две пары рогов, две шкуры и восемь копыт.

Старик подбросил хворосту в костер, зажарил мясо, поел.

С этого дня расцвела жизнь Танзагана. Вечером скажет:

— Коня бы мне, — взмахнет лентой, ляжет спать.

Утром, только откроет глаза, глядь — бесчисленные габуны рыжих кобылиц вокруг пасутся, а жеребцы не на жизнь, на смерть спорят, кому табун водить.

Перед заходом солнца только подумает: «Корову бы мне...» К утру бродят в жирной траве неисчислимые стада.

К богатым стадам, к резвым табунам, к сладкой траве, к чистой воде и люди прикочевали, рядом с аилом старика свои аилы поставили. Раскинулось стойбище от западного края земли до восточного.

Еще двух зим, двух весен не прошло, а сколько жирных коней закололи, в больших медных котлах сварили, сколько песен спели, сколько свадеб сыграли — не сосчитать! В каждом аиле теперь плакали и смеялись дети, родившиеся на этом урочище.

На ноги дети встают, родителям своим крепкими ножонками подолы шуб топчут.

И заскучал старик Танзаган. Захотелось ему тоже своих детей у себя в аиле увидеть, на свою жену посмотреть.

Вот однажды вечером взмахнул он лентой и молвил:

— Завтра, на заре, красавица жена пусть в мой аил придет.

Утром, едва небо побелело, старик проснулся — белая гусыня в аиле стоит.

Обиделся Танзаган:

— Нет стыда у белой лягушки. Добро, какое вздумаю, — дает, а жену попросил — обманула.

Снял со стены гибкий лук с тугой тетивой, вынул из колчана стрелу:

— Лети, белая гусыня! Спящего зверя, сидящую птицу я никогда не бью. Лети!

Сказанные слова еще не остыли, глаза моргнуть не успели. Танзаган стрелу на тетиву еще не положил, как белая гусыня встряхнулась, повернулась, красавицей обернулась. Волосы у нее, как вечернее небо, желто-бронзовые, губы словно брови тетерева — светло-красные.

У Танзагана колени подогнулись, медленно на землю опустился. Веки часто-часто заморгали, узкие глаза блестят от слез:

— Откуда вы пришли к нам? Куда путь держите?

— Я тринебесного Курбустана младшая дочь. С третьего неба к вашему костру пришла. Обратно на третье небо мне теперь никак нельзя — дымом вашего очага дышала, в вашем аиле побывала.

Старик Танзаган погладил заскорузлой рукой желто-бронзовые волосы. Колючей щекой тронул нежную, как лепесток маральника, щеку красавицы, взял ее за правую руку, темным лбом к ее круглому колену припал:

— Вашим другом навек я буду.

— Будем всегда неразлучны, — отозвалась она.

Так рожденная третьим небом младшая дочь Курбустана стала женой человека. Одежду ему шила, пищу варила. Огонь в очаге старика Танзагана не угасал, котел его, полный мясом, никогда не остывал.

Тринебесная красавица родила старику Танзагану двух сыновей и дочь. Дети подрастали, но мать их не старилась, прелесть ее не блекла. Спереди на нее посмотришь — направо солнце стоит, налево луна. Со спины взглянешь — звезды мерцают.

Ее лунно-солнечную красоту, ее звездную красоту дымом костра не закоптишь, сажей очага не запачкаешь.

Ни один человек не мог думать о ней без боли в сердце. И люди ходили свирепые, как тетерева на току, как олени во время гона.

— Любого из нас бери себе в мужья. Разве старик Танзаган тебе муж?

Однако дочь Курбустана осталась в аиле старика.

Тогда люди сказали друг другу:

— Если на Алтае таких красавиц не было и нет, пусть и эта у нас не красуется, печень нам не бередит, сердце не печалит.

Но знали в народе — стрелу старика Танзагана на землю не падают, всегда метко в цель бьют. И смельчака не нашлось, героя не объявилось, кто бы отважился к ветхому берестяному аилу приблизиться.

Однажды бурой осенней порой поймал старик волосяным арканом девятилетнего коня из табуна, положил ему на спину потник, водрузил седло, затянул шестнадцатью подпругами. Потом взял свой крепкий

лук, повесил через плечо, положил в колчан меткие стрелы, прицепил к поясу нож и кисет. Поставил левую ногу в медное литое стремя, правую перекинул через седло, дернул повод коня и поскакал на охоту, чтобы добыть горных теке-козлов, быстроногих дзеренов и маралов с ветвистыми рогами.

Люди только и ждали этого дня. Смело подошли они к аилу старика, притащили сухого валежника, обложили аил хворостом и подожгли. Со свистом и треском вспыхнули берестяные стены. Высоко, к самому дну неба побежало жаркое пламя. Вместе с пламенем вылетела из аила, обернувшись белой гусыней, младшая дочь тринебесного Курбустана.

Трое детей ее тремя малыми птахами рванулись следом за матерью.

С богатой добычей вернулся с охоты старик Танзаган.

Но на месте своего аила увидал он груду черных головешек. Белым пеплом земля покрыта, седой золой запорошена.

Опустился старик на остывшую золу. Весь день молча сидел, горевал. Когда солнце ушло за горы и земля потемнела, увидал Танзаган — всходят на небо четыре новые звезды. Впереди всех — мать, тихо сияет, на плечах у нее сверкают два мальчика, на спине мерцает маленькая девочка.

Созвездием Белой Гусыни назвал старик эту семью и горько-горько заплакал:

— Дочерью тринебесного Курбустана пускай теперь люди любуются, нечистыми помыслами ее не обижая. Пускай, на три малые звездочки поглядев, вспомнят люди, как детей с отцом разлучили.

Достал он из кисета желтую ленту, скрутил клубком и кинул в небо, своим детям в подарок. Там, позади созвездия Белой Гусыни, этот желтый клубок и по сию пору светится маленькой, едва различимой звездочкой.

Долго вздыхал-причитал старик, потом произнес:

— Нет, не могу я жить одиноким. Женился бы хоть на этой черной головешке. Хочу, чтобы в моем аиле смеялись бы и кричали мои дети.

Глядь, а рядом с ним, дымом очага закопченная, сажей запачканная, темная, будто головешка, старуха.

Эта старуха родила Танзагану много-много черноволосых смуглых детей. По всему белому, по синему, по золотому Алтаю они расселились. И род их никогда не угаснет, будет жить и множиться на земле, пока в небе горит созвездие Белой Гусыни. Как-никак эти звезды алтайским людям маленько родня: и те и другие старика Танзагана дети.

АЛТЫН-ЧАЧ — ЗОЛОТЫЕ КОСЫ

I

На краю золотой долины, на краю голубой долины, там, где весной гуси не пролетают, куда ни ворону, ни сороке не долететь, под мышкой у ледяной горы стоял маленький, круглый, как сердце, аил. Над его верхушкой вился тонкой нитью белый дым. Жил в этом аиле смуглый мальчик Юскузек. Он кормился молоком бурой коровы, играл с белой козой, ездил на буланом коне.

Однажды, едва небо побелело, проснулся Юскузек, взял кожаную, обшитую медными бляшками узду, встряхнул ее, но буланый конь на звон бляшек не откликнулся, звонко-весело он не заржал, не прибежал, стуча копытами; крикнул Юскузек свою бурую корову, но корова, вытянув шею, не замычала. Поманил козу, не прискочила, не заблеяла, не стукнула передними ногами по стволу березы, не потянулась к тонким веткам тополя.

Глянул Юскузек направо — лишь трава колышется, налево посмотрел — лишь ручей воркует, пляшет по камням. Позади пропасть, впереди гора с ледяной вершиной.

На подоле горы увидал Юскузек следы семерых волков.

— Отец, от которого я родился, приди! — позвал Юскузек. — Мать, меня вскормившая, помоги!

Но никто не пришел помочь.

— Оглянусь назад. кроме тени, нет никого, — горько сказал Юскузек. — Руки подниму, чтобы поддержал меня кто-нибудь. кроме как за свои уши ухватиться не за что. Птенцу, выпавшему из гнезда, все равно, где сгнить. Пойду по волчьим следам, пока волкам не отомщу, домой не вернусь.

Сунул за пояс свой синий, острый, как молодой месяц, топор и зашагал. Шел частым лесом, где между деревьями и мухе не пролететь, по долам ступал, где камни, словно овчиной, кудрявым мохом обросли, полз по голым склонам гор, карабкался на ледяные утесы. Вверх взглянет — дно неба видно, вниз посмотрит — земли не видно.

2

Взобрался Юскузек на узкое ребро горы, как вдруг небо потемнело, земля закачалась. Над белым, над золотым Алтаем распростерлись два крыла. От взмаха этих крыльев поднимались и опускались волны в море, дробились скалы, стонала земля, кричали все семьдесят семь ветров. Это летела над синим, над белым Алтаем царь-птица Каан-Кередс. Буря, разбуженная взмахами крыльев, стащила Юскузека с ребра горы, подхватила и понесла, швыряя то вверх, то вниз, волоча то по земле, то по небу.

Только когда Каан-Кереде выше третьего неба поднялась, буря на земле утихла, и Юскузек, будто шишка с кедра, сорвался с облаков и покатился по земле, цепляясь за ветви, за траву.

Долго ли, коротко ли катился — не помнит. Очнулся на дне пропасти. Светлым днем он солнца над головой не увидел, темной ночью луны в небе не нашел.

Крикнул — только эхо отозвалось, застонал — лишь галька посыпалась. Заплакал Юскузек. Этот одинокий плач тронул сердце Каан-Кередс. Сомкнула царь-птица могучие крылья и камнем упала на дно пропасти. Когтистой лапой подхватила Юскузека, поднялась вместе с ним и, маша крыльями, понесла туда, где крылья на деревьях не желтеют, где на ветвях вечно цветущей белой черемухи кукушки кукуют весь год. Поставила чудо-птица Юскузека на землю и улетела.

Здесь, оказывается, на розовой каменной россыпи лежали семеро волков, опустив черные морды на твердые лапы.

Выхватил мальчик из-за пояса синий топор, замахнулся:

— Где мой буланый конь? Где бурая корова? Коза моя где?

Сказанные слова еще не слетели с губ, поднятый топор еще не опустился, как семеро волков вскочили, низко-низко Юскузеку поклонились, человечьим голосом заговорили:

— В нашу пещеру пожалуйте, дорогим гостем будете.

3

В недрах семивершинной горы, между синими утесами, зиял черный лаз. Семеро волков один за одним полезли туда. Следом за ними и сирота Юскузек. Долог ли, короток ли был путь, но вот очутились глубоко под землей в большой пещере. Было здесь, как днем,

бело. Это ровным светом сияли занавеси, расшитые лунным и солнечным узором. На полу лежали пестрые рысьи шкуры и мохнатые шкуры бурых медведей. Мех блестел, лоснился, будто живой.

Волки откинули занавес, расшитый солнечным узором, и Юскузек увидал холмистые луга, одетые зеленой травой.

Буланый конь, распустив по ветру черную гриву, мчался впереди табуна тонконогих кобылиц. Бурая корова, низко опустив голову, шла вперевалку, пощипывая траву, а за ней следовало стадо красного скота. Белая коза прыгала по холмам, откусывая по листику с куста, по цветку со стебля. За ней, высоко задирая то задние, то передние копытца, скакали пестрые козлята.

— Гость наш Юскузек, — произнесли волки, — на вашем буланом коне теперь наш почтенный родитель ездит. Молоком бурой коровы питается глубоко почитаемая родительница. С белой козой играет желтый любимец наш — шелудивый щенок.

Волки задернули солнечный занавес и откинули тот, что был расшит узором лунным. И открылась Юскузеку пещера лунно-белого цвета.

Справа восседал на девяти белых кошмах волк, белый, как горностай зимой. На плечах шуба с семью воротниками. На голове высокая шапка с белой серебряной кистью.

Слева на семи белых кошмах восседала белая, будто снегом занесенная, волчица. На ней белая мерлушковая шапка, украшенная длинной лентой. Ее бархатная безрукавка расшита шелками семи цветов.

У ног белой волчицы лежал, улыбаясь, желтый любимец, шелудивый щенок.

Белые старики, опираясь на посохи, встали.

Семеро серых волков принесли кошму, широкую, как долина, собольи шкурки, мягкие, как шелк, шапку, пошитую из лап огненно-красной лисы, шубу с тремя воротниками.

Белый старик сказал:

— Разум моего сердца, огонь моих глаз, славный Юскузек, эти наши дары, пожалуйста, примите.

Юскузек опустился на колени, склонил голову так низко, что коса, заплетенная на затылке, свесилась на лоб, коснулась земли:

— Я сирота, ваши дары принять не смею. В моем круглом, как сердце, аиле широкую кошму расстелить — места нет, собольи шкурки спрятать — сумины нет, богатую шубу сберечь — сундука нет. Высокая шапка нищей голове не подходит.

Белый старик сказал:

— Гостя накормить, одарить — таков наш обычай. Если мы вам угодить не смогли, выберите сами, что любо, достойный Юскузек.

— В моем одиноком аиле, — отозвался сирота, — даже собаки нет, чтобы голос подала, хвостом повиляла бы. Если не жалко, подарите мне желтого любимца, шелудивого щенка.

Семеро серых волков, как один, морды к стене повернули, горько вздохнули. Белая старуха тяжелую слезу уронила, старик свою белую щеку погладил, голову опустил:

— Отказать вам не могу. С этим щенком у вас один костер зажжен, одной судьбой вы связаны.

4

Из пещеры, увешанной занавесями с лунным и солнечным узором, от розовой каменной россыпи с вечно цветущей черемухой ушел Юскузек. За ним, часто-часто перебирая лапами, спешил желтый любимец, шелудивый щенок.

Сколько горных перевалов позади оставили, сколько рек каменистыми бродами перешли — не считали. Язык Юскузека высох, позвонки на шее заострились.

Сел он на обгорелый пень, закрыл глаза:

— Смерть, приди ко мне! Голодного меня ты легко победишь.

Долго ли, коротко ли ждал, но смерть не пришла.

Открыл глаза. Что такое? Во сне ли, наяву ли белая кошма расстелена, сдой, питьем уставлена.

Поел Юскузек, щенка позвал, но его и следа не видно.

«Только тень моя всегда со мной — только синий щербатый топор всегда при мне», — вздохнул Юскузек.

Поднялся и пошел.

Много-долго не прошагал, и вот перед ним голубая долина, золотая долина и под мышкой у ледяной горы круглый, как сердце, родной аил. Над его верхушкой вьется тонкой нитью белый дым.

«Кто дров принес? Кто в потухшем очаге огонь зажег?»

5

Отворил дверь и увидал желтого щенка.

Над костром на железной треноге стоял красный медный котел, в котле кипел черный чай, а на полу,

у костра, стояла чашка, розовые сливки через край лились.

Юскузек лег на козью шкуру. Тихо лежит, будто спит, а сам поглядывает.

Щенок по земле покатался-повалялся, встряхнулся, и упала желтая шкура. Стоит вместо щенка девица в лунно-белой одежде. Подняла кожаное ведро с водой, подошла к очагу, налила воды в котел. На огонь взглянула, вздохнула, ладонями тронула нежные щеки. Серьги у нее, как две луны, брови бархатные, золотые косы тихо сияют.

Юскузек вскочил, схватил щенячью шкуру, хотел в огонь швырнуть. Но девица ударила ладонями по своим круглым коленям, ее глаза полны слез:

— Отдайте шкуру...

Юскузек пал на правое колено, склонил голову и сказал:

— Взглянуть на вас не смею, грязными пальцами к вам не прикоснусь, ветру дунуть на вас не позволю, муравью взобраться на подол вашей шубы не дам. Однако спросить отважусь, почему вы ходите в щенячьей шкуре?

Она ответила:

—Караты-каан, который ездит на мухортом, свирепом, как барс, иноходце, разорил нашу землю. Мои почтенные родители и семеро братьев, чтобы не жить рабами-пленниками, обернулись серыми волками. Я стала желтым щенком.

— Ваши уважаемые родители какое вам дали имя?

— Зовут меня Алтын-чач — Золотые косы.

Юскузек спрятал шкуру в каменную шкатулку, запер в бронзовый сундук и опустил в деревянный ларь.

* * *

У Караты-каана, ездящего на мухортом иноходце, свирепом, как барс, пропал белый, как серебро, жеребец с шестью ушами. Следом за ним убежал табун молочно-белых кобылиц. Караты-каан помчался на своем мухортом иноходце искать жеребца с шестью ушами.

Куда только половина копыта могла ступить, всеми четырьмя копытами ступал иноходец. Куда лишь взор может долететь, бежал-летел мухортый красавец. Однако жеребца с шестью ушами он не догнал. На все шестьдесят сторон земли посмотрел Караты-каан, на все семьдесят взглянул — табуна молочно-белых кобылиц не нашел. Но увидал на краю золотой долины, на краю голубой долины, под мышкой у ледяной горы маленький, круглый, как сердце, берестяной аил. В синей тени ледяной горы берестяной аил золотым светом сиял.

Караты-каан подобрал полы шубы и ударил мухортого иноходца плетью с девятью концами. Будто стрела, пущенная с тугой тетивы, помчался иноходец. Он бежал, вытягиваясь, как сыромятный ремень, напрягаясь, как синяя жила.

— Э-эй! — вскричал Караты-каан. — Где это днем луна светит? Чей это аил горит?

— О Юскузек, скорее достань желтую шкуру, — взмолилась Алтын-чач, — я должна обернуться желтым щенком.

Едва успел Юскузек деревянный ларь открыть, до бронзового сундука дотронуться, каменную шкатулку в руки взять, как Караты-каан уже здесь. Спешился, ногу за порог занес и понял: это не луна светит, оказы-

вается, не аил горит. Это сияют тихим светом золотые волосы Алтын-чач.

Подобно лесистым холмам, сдвинулись брови Караты-каан. Как река в половодье обрывает берега, так разорвал, искусал Караты-каан свои бурые губы. Позабыл о табуне молочно-белых кобылиц, о бслом, как серебро, жеребце с шестью ушами. Он смотрел и смотрел на Алтын-чач.

— Если это сестра твоя, ничтожный Юскузек, то женой моей будет. Если жена твоя — рабой моей будет.

— Твоей буду, — молвила Алтын-чач, — если ты победишь Юскузека. Но если тебя Юскузек победит, с ним не расстанусь.

Караты-каан повернул поводом коня и, ничего не сказав, не оглядываясь, помчался к своему высокому дворцу.

Собаку, выбежавшую ему навстречу, он пихнул ногой, сына своего он оттолкнул рукой. Ему на троне не сидится, будто это раскаленный камень. Ему в постели не лежится, будто это осиное гнездо. Он ни пить, ни есть не может, будто кость застряла в горле. Так, не садясь, не ложась, он составил письмо.

«Я, Караты-каан, владеющий всеми шестьюдесятью народами Алтая, обладающий бесчисленными табунами, стадами и отарами, вызываю тебя, безлошадного, нищего Юскузека, на великий спор.

Если ты три раза спрячешься, а я найду тебя — ноги твои отрублю, к голове приставлю. Голову твою отрублю, к ногам приставлю.

Если я, Караты-каан, три раза спрячусь, а ты меня не найдешь, твоя Алтын-чач моей станет».

На крыше дворца на краю дымоходного отверстия всегда сидели два быстрых сокола.

Караты-каан дал им письмо:

— Быстрее ветра летите!

Соколы подхватили клювами грамоту, распрямили круглые крылья и полетели к голубой долине, к золотой долине, туда, где под мышкой у ледяной горы стоит маленький берестяной аил.

Бросили соколы письмо Караты-каан к ногам Алтын-чач и улетели.

6

Небо зашаталось, земля закачалась, река вышла из берегов. Это Караты-каан на своем мухортом иноходце, свирепом, как барс, спешил к маленькому, круглому, как сердце, берестяному аилу. Зеленой травы не поднимая, синие цветы не затаптывая, славной иноходью мухортый красавец бежал.

Юскузек туда-сюда посмотрел, куда спрятаться — не знает.

Алтын-чач направо-налево его повернула, по земле покатала, и сделался Юскузек меньше лиственничной шишки. Алтын-чач подхватила его, с ладони на ладонь перебросила, и обернулся Юскузек кожаным наперстком. Надела Алтын-чач этот наперсток на указательный палец правой руки и ждет.

Караты-каан туда-сюда смотрел, по дну неба шарил, на дно пропастей спускался, но Юскузек не нашел. Заглянул в маленький берестяной аил — только трубка Юскузека с черенком из марального рога лежит у костра, а самого не видно.

— Не нашел я тебя, — сказал Караты-каан, — теперь сам покажись.

Алтын-чач руку опустила, наперсток оборонила. Коснулся наперсток земли и встал Юскузеком.

Караты-каан как гром загремел, как железо зазвенел:

— Завтра мой черед прятаться. Если не найдешь меня, знай — мясо твое с костей срежу, кости высушу, истолку, в кипящем чае сварю!

Назавтра Алтын-чач велела Юскузеку пойти в белый дворец, снять с белой стены трехсаженный лук.

Юскузек пришел в белый дворец, снял с белой стены трехсаженный лук и так сильно натянул тетиву, что концы лука сошлись. Затрещал лук, заскрипел и крикнул человечьим голосом:

— Кости мои, Юскузек, не ломай, жилы мои не вытягивай.

— Я нашел тебя, Караты-каан! — сказал Юскузек и бросил лук на землю.

Лук на землю упал, Караты-кааном встал.

На другой день, едва небо побелело, Алтын-чач услыхала топот иноходца, свирепого, как барс.

Иноходью, равномерно покачиваясь, мухортый красавец бежал. Караты-каан, будто в люльке дитя, из стороны в сторону колыхаясь, спокойно в широком седле сидел. Иноходец на подоле гор копытами землю отбрасывал, на ребрах горы из камней искры высекал. На плечо горы поднявшись, танцуя бежал. Ушами чутко перебирая, он будто ножницами облака стриг.

Алтын-чач направо-налево Юскузека повернула, по земле покатила, и стал он ростом с кедровую шишку. Алтын-чач подхватила его, с ладони на ладонь перебросила, и обернулся Юскузек лисьей шапкой. Алтын-чач положила шапку в охотничью сумину и повесила на деревянный гвоздь.

Караты-каан все ветки на деревьях пересчитал, все корни повыдергал. Юскузека не нашел и ворвался в аил:

— Выходи!

Из охотничьей сумы выскочила шапка, на землю упала, Юскузеком встала.

Теперь опять пришла пора Юскузеку искать Караты-каана.

Алтын-чач научила его:

— Необъезженный вороной жеребец гуляет в табуне чалых кобылиц. Зааркань его, вскочи на спину и огрей железным костылем.

Юскузек накинул вороному на шею аркан длиною в шестьдесят сажен. Вороной конь на дыбы встал, потом на передние колени грохнулся, поднялся на четыре копыта и так взбрыкнул задними ногами, что день стал черным, как ночь. Хотел лягнуть Юскузека, но копыто о железный костыль обломал. И помчался конь, поскакал по шестидесяти шести горам белого Алтая, по семидесяти семи холмам золотого Алтая. Одежда Юскузека в клочья изорвалась, на ногах кости обнажились. Однако он не выпустил аркана из рук. Конь храпел, хрипел, взмок.

Юскузек вскочил ему на спину, огрел железным костылем.

Конь заржал на десять разных голосов и закричал человечьим голосом:

— Ничтожный, ободранный Юскузек! Как посмел ты на меня руку поднять?!

— Я нашел тебя! — сказал Юскузек.

Пришел сирота в свой аил. Тут сразу небо закачалось, земля зашаталась, гром загремел. Это мчался по

голубой долине, бежал по золотой долине мухортый иноходец, свирепый, как барс.

Юскузек на землю упал, травою у ног Алтын-чак расстелился.

Караты-каан на луну смотрел, на солнце глядел, шею, как сова, вертел, глаза у него перекосились. Но Юскузека он не нашел.

— Выходи!

Травинка к земле пригнулась, земли венчиком стебля коснулась и встала Юскузеком.

Караты-каан сказал:

— Завтра в последний раз мы посмотрим. Не найдешь меня — пополам разорву, одну половину на вечную ледяную гору заброшу, другую в море утоплю! — тронул повод, поднял плеть.

И побежал мухортый иноходец. Мелкий щебень под его копытами в пыль рассыпается, крупные камни раскалываются.

Алтын-чач велела Юскузеку срубить березу, что стоит у золотого порога белого дворца.

Юскузек ударил топором по стволу.

Застонала береза, заскрипела, человечьим голосом закричала:

— Брось топор, подлый раб!

— Я нашел тебя, Караты-каан!

Сорвался с березы листок, на землю упал, Караты-кааном встал.

— Ты, ничтожный Юскузек, хотел согнуть меня, когда я тугим луком был, посмел ударить, когда я конем скакал, топором стукнул, когда я белой березой у своего порога стоял. Теперь, Юскузек, знай: я накажу тебя! В свой круглый, как сердце, аил ты не

войдешь, пока не добудешь мне золотое яйцо из гнезда птицы Каан-Кереде.

7

За семью белыми, за девятью черными морями, за долинами, за горами на железном тополе с девяносто девятью ветвями свила Каан-Кереде свое гнездо.

Юскузек днем не дневал, ночью костра не зажигал. К железному тополю шел, солнца не видя, луны не замечая. Дни летели, будто стаи перелетных птиц. Годы медленно, как змеи, ползли.

Долго ли, коротко ли шел Юскузек, но вот он увидел железный тополь. Корни этого дерева в нижний мир упираются, ветки третьего неба касаются. По могучему стволу медленно полз вверх семиголовый змей. Туловище змея в десять обхватов, ядовитые зубы длиною в сажень.

Между ветвями железного тополя увидал Юскузек стойбище, на стойбище не похожее, тайгу, на тайгу не похожую. Это из крепких стволов кедра было сложено на широких ветвях огромное гнездо. В гнезде сидели двое птенцов, один плакал, другой смеялся.

Плачущий говорил:

— Сегодня меня семиголовый змей съест...

А смеющийся радовался:

— Меня змей лишь завтра съест, я еще целый день буду жить!

Юскузек выхватил из-за пояса топор и одним взмахом отрубил все семь змеиных голов. Головы, шевеля языками, покатились в разные стороны. Тело змея дважды вокруг медного ствола обвилось, дважды на земле

в кольцо свилось и вытянулось. Кровь змея ядовитым морем разлилась, тело вздулось черной горой. Юскузеку через море не перейти, горы не обойти, к медному тополю не подойти, в гнездо не попасть.

А птицы в гнезде ликовали:

— Потухший костер кто раздул? Погибавших нас кто из беды вызволил?

Старший птенец вытянул шею, головой повертел, правым глазом посмотрел, левым глазом взглянул, увидал Юскузека и выпростал из гнезда свое еще не оперившееся голое крыло. Юскузек перешел по крылу птенца, как по мосту, через море змеиной крови, перебрался через гору змеиного тела и влез в гнездо.

Птенцы так звонко запищали, что Юскузек чуть не оглох, так громко засмеялись, что Юскузек чуть ум не потерял, шапка с головы упала.

8

Вдруг небо потемнело, зашумел ветер, и пролился на землю теплый горький дождь. Это Каан-Кереде домой летела, слезы из ее глаз на землю капали:

— На охоту вылетаю, змей к птенцам крадется. Дома остаюсь, птенцы есть просят. И так и этак птенцам моим смерть.

Одной лапой она семьдесят маралов тащила, другой — шестьдесят горных текс-козлов.

— Домой спешу, добычу несу, но живы ли мои птенцы, не знаю.

— Живы мы, живы мы! — отозвались птенцы.

Глаза Каан-Кереде радостью засияли, в небе радуга встала, к солнцу каждый листок, каждый цветок повернулся.

— Прячься скорей под мое крыло, — сказал старший птенец Юскузеку.

— Если хоть слово скажешь, — говорит второй птенец, — и себя и нас погубишь.

Каан-Кереде подлетела к гнезду, кинула птенцам свою добычу и вдруг увидела шапку Юскузека, страшным клекотом заклекотала:

— Кто в гнезде прячется? Заклюю, разорву!

— На землю взгляните, — сказали птенцы.

Глянула Каан-Кереде одним глазом — море черной крови увидала, глянула другим глазом, увидала гору змеиного тела.

Когтями вцепилась, три раза змеиное мясо глотнула, три раза выплюнула. Моря крылами взбаламутила, лапами затоптала, когтями землю вспахала.

Опять к гнезду поднялась:

— Какой богатырь змея победил?

Птенцы ответили:

— Пока сердце ваше не успокоится, пока желудок не согреется, пока клюв не высохнет, мы вам богатыря не покажем.

— Верные мои дети, вашего защитника я когтем не царапну, клювом не трону, крылом своим от непогоды укрою.

— Сначала ноги свои цепями, крылья ремнями свяжите.

Каан-Кереде-мать опутала ноги цепями, связала крылья ремнями.

Птенцы приподняли еще не обросшие пером крылья. На дне гнезда стоял Юскузек.

Каан-Кереде страшным криком закричала, хотела кинуться к нему — ноги спутаны, хотела подлететь —

крылья связаны. Вытянула шею, рванула клювом худую шубу и вдруг увидала на обнаженном плече Юскузека четыре глубоких рубца.

Четыре раза Каан-Кереде застонала и говорит:

— На твоем плече след моих когтей. Из глубокой пропасти я тебя когда-то вытащила. Теперь ты моих птенцов спас. Чем тебя отблагодарить, какую службу сослужить?

Юскузек сказал:

— Караты-каан велел мне добыть золотое яйцо из вашего гнезда.

Каан-Кереде ответила:

— У Караты-каана крови нет, чтобы заболеть, души нет, чтобы умереть. В золотом яйце его душа. Мы с ним друзьями не были, золотого яйца не видала.

Разгневался Юскузек. Молодые кости его окрепли. согнутые плечи распрямились. Голос грозным стал:

— Сестра моя Каан-Кереде, отнесите меня на мое стойбище.

9

Каан-Кереде сбросила с ног железные цепи, сняла с крыльев ременные путы, посадила Юскузека на спину и полетела.

Сколько времени на спине Каан-Кереде он сидел, Юскузек не помнит, в какую сторону попал, не понял.

— Прощай, — сказала ему царь-птица и улетела.

Оглянулся Юскузек — в седой, занесенной снегом долине стоит шалаш. В шалаше черный гнилой старик. Передние зубы у старика выпали, усы побелели. Ноги

спутаны тугим ремнем, шея зажата деревянной колодкой. Старик сидя спал у погасшего костра.

Юскузек развел огонь, подбросил в костер ветки лиственницы.

Старик открыл глаза, протянул руки к огню и запел:

— На золотом коне ты скачешь, Мать Огонь, окоченевших к жизни возвращаешь, жаркой шубой одаряешь. Сырую пищу варишь, холодную воду кипятишь. Темной ночью ты желто-красное пламя в черное небо швыряешь, золотыми искрами мрак раскалываешь.

Спев эту песню, старик протянул Юскузеку ломоть курута, дал чашку молока.

— Отдохни, милый гость.

Юскузек поел, лег на земляной пол, распахнул шубу, положил голову на рукав и уснул.

Поздно вечером приплелась к шалашу желтая старуха, сняла со спины вязанку хвороста, хотела курута пожевать — не нашла, хотела молока попить — чашка пуста.

Подняла старуха свой костыль и ударила старика по голове:

— Последний кусок, последний глоток у меня отнял.

— Шибко не брани меня, старуха. Жив ли, умер ли наш сын, кто знает? Мы этому голодному помогли, может быть, и нашего сына люди в беде не оставят. В тайге дерево дереву упасть не дает, среди людей человек поддержит человека.

Сказал и уснул.

А старуха, печалясь о молоке и куруте, никак не

заснет. Вздыхает, с боку на бок ворочается, трубку курит, злыми глазами на гостя взглядывает. И вот при свете костра увидала старуха на его голой спине, под левой лопаткой, родимое пятно. Охая встала, к старику подошла, своей трубкой ткнула старика в щеку. Старик открыл глаза и тоже увидел родимое пятно.

Холоднос тело старика согрелось, тусклыс глаза посветлели.

— Э-э, мальчик, юноша! Проснись! Ты огонь наших глаз, ты кровь нашей груди, ты наша печень, ты наш единственный сын!

Юскузек встал, низко поклонился отцу и матери:

— Отец, мать, зачем на краю золотой долины, на краю голубой долины, под мышкой у ледяной горы, в маленьком берестяном аиле вы меня одного оставили?

— Был неурожайный год, ни орехов, ни белок, ни соболя мы не добыли, дани Караты-каану платить было нечем. Нас поймали, сюда привезли и бросили умирать. Но мы свою жизнь, как паутинную нить, день за днем, год за годом тянули, чтобы хоть одним глазом на тебя посмотреть, сынок.

Юскузек поцеловал сухой лоб старика, черные губы матери. Твердыми ладонями нежно погладил их белые волосы.

Старики как сидели, так и уснули вечным сном. Когда Юскузек из своего круглого, как сердце, аила пошел по следу семерых волков, был он мальчиком. Гнездо царь-птицы Каан-Кереде покинул юношей. Теперь Юскузек богатырем стал.

10

Караты-каан на постели, устланной мягкими шкурами в семь рядов, ночью не спит. На белой кошме, положенной в девять рядов, днем не сидит. Он ждет вести о гибели Юскузека, он хочет скорее взять в свой белый дворец прекрасную Алтын-чач.

— Эй, раб! Беги в голубую долину, в золотую долину, подойти к аилу, круглому, как сердце, послушай, смеется там или плачет Алтын-чач.

Пятясь, вышел раб из белого дворца, быстрее мухортого иноходца побежал к аилу Юскузека. Взглянул на Алтын-чач и забыл, для чего был послан. Рот широко открыл, не шевелясь стоит, не мигая смотрит. Косы Алтын-чач как осенние березы в свете зари, глаза — две темные смородины, брови бархатно-черные.

Но вдруг земля и небо закачались, черный вихрь зашумел. В голубую долину, в золотую долину примчался на мухортом, свирепом, как барс, иноходце Караты-каан. Он схватил раба за косу:

— Ты как смеешь смотреть на Алтын-чач?

Намотал жидкую косичку раба на свою будто из меди отлитую красную руку и перебросил его за семь гор, забросил за девять морей.

Караты-каан гикнул, крикнул, и прибежала на его зов жемчужно-белая лошадь. Сбруя на ней, украшенная бирюзой и серебром, сверкала, блистала. Грива, заплетенная в косы, спускалась до бабок, хвост был на Млечный Путь похож.

Караты-каан посмотрел узкими глазами на прекрасную Алтын-чач, растянул бурые губы, оскалил желтые зубы и приказал:

— Поставьте ногу в серебряное стремя, сядьте в седло, сияющее не только при солнце, но и при луне, возьмите в руки повод.

Алтын-чач поставила ногу в серебряное стремя, села в седло, взяла в руки повод и поехала на молочно-белой лошади рядом с Караты-кааном, ездящим на мухортом иноходце, свирепом, как барс.

11

С сердцем холодным, как вечный камень, с черным сердцем вернулся в голубую долину, в золотую долину богатырь Юскузек.

Круглого, как сердце, аила он не нашел, Алтын-чач не увидал.

Следы двух коней привели Юскузека ко дворцу Караты-каана. Отворил дверь, переступил через золотой порог.

На золотом троне с девятью ступенями сидел Караты-каан. По правую руку кайчи-сказочники, перебирая волосяные струны своих топшууров, сказки сказывали. По левую руку песенницы, поднеся к зубам звучные комусы, зову улетающих гусей подражали.

Караты-каан увидал Юскузека, как жаба надулся, как бык заревел:

— Ты, нищий, безродный Юскузек, как посмел через золотой порог переступить, к моему очагу подойти?! Где золотое яйцо?

Юскузек сказал:

— Питающийся человечьей кровью Караты-каан! Похваляясь силою, слабого не задирай. Злыми словами молчаливых не задевай. Под худым седлом ходит добрый конь, в худой шубе — добрый молодец.

Схватил Юскузек Караты-каан за соболий воротник, стащил с золотого трона. Караты-каан своими медными руками обхватил Юскузека. Поднял, хотел зашвырнуть на черную гору. Юскузек не поддался. Обхватил Юскузек Караты-каана, поднял его, хотел зашвырнуть на ледяную гору. Караты-каан не поддался. Земля дрожала, небо колыхалось от топота их ног. Горы прыгали, как сарлыки, а холмы — как телята. Семь лет боролись, большие горы разрушая, моря вытаптывая. Ни один другому не уступил. Девять лет боролись, девять раз всю землю обежали, все камни на земле в пыль растоптали, все тучи в небе перемешали. За воротники один другого ухватив, через девять гор, через девять морей друг друга перебрасывали.

У Караты-каана крови нет, чтобы заболеть, души нет, чтобы умереть, но Юскузек рукой уже тронул землю, лбом земли коснулся.

Караты-каан, бобровую шапку поглубже на брови надвинув, говорит:

— Голову повыше подними, Юскузек! В последний раз на Алтай посмотри, на солнце, на луну погляди, со звездами попрощайся. К синим облакам я тебя подкину, в черную бездну сброшу.

— Эй, братья-волки, эй, сестра моя Каан-Керсде, помогите, — крикнул Юскузек.

Будто серые вихри примчались серые волки. В семь глотков сожрали они мухортого иноходца, свирепого, как барс. Семь раз выплюнули.

Чудо-птица Каан-Кереде прилетела, твердыми, как железо, когтями подцепила Караты-каана и унесла на дно неба. Там таскала, трепала, клевала, но Караты-каан только смеялся:

— Ни зверю, ни птице меня не победить.

Алтын-чач — Золотые косы не напрасно, оказывается, в высоком дворце жила.

Алтын-чач в белом дворце семь лет золотое яйцо искала — не нашла. Девять лет искала, нашла, оказывается. В огонь бросила.

Лопнуло в огне золотое яйцо, и душа Караты-каана вместе с дымом рассеялась.

Птица Каан-Кереде сошвырнула Караты-каана со дна неба, бросила на дно пропасти. Собакам куска мяса не досталось от тела Караты-каана. Иголкой один раз поддеть-зацепить не осталось лоскута от шкуры Караты-каана.

Сама Каан-Кереде куда улетела, куда птенцов увела, мы не знаем. Что стало с семью серыми и двумя белыми волками. нам неведомо. Жеребца с шестью ушами пока еще никому не удалось настичь-заарканить.

Алтын-чач — Золотые косы мудрой правительницей стала, говорят. Всеми шестьюдесятью, всеми семьюдесятью народами Алтая она правила, говорят. с кого взыскать, кого помиловать знала-ведала. Верной супругой богатырю Юскузеку была, оказывается. На подолах шуб у них впереди малые дети всегда играли-маралась, сердце родителей радуя. Позади всегда скот табунами, стадами ходил, не иссякая.

Наше сказание кончилось. Семь долгих осенних ночей мы, струны топшуура перебирая, это сказание пели. Слов у нас больше нет. Все.

АЛЫП-МАНАШ И КЮМЮЖЕК-АРУ

I

Когда небо было сотворено, когда земля была сотворена, вместе с небом и землей был сотворен Байбарак-богатырь, сидящий на пятнистом, как барс, коне.

Когда луна была сотворена, когда звезды засияли, вместе со звездами и луной родилась прекрасная Эрмен-чечен.

Она быстрей травы, как камыш, росла, диких коней сама заарканивала, сама усмиряла-объезжала. Равного ей силача на Алтае не было, равного ей смельчака на земле не нашлось.

Поперек ее тропы лишь Байбарак-богатырь отважился встать. Как медведь, Байбарак-богатырь грозно глянул — ни объехать его, ни с пути согнать.

Левой рукой он девицу Эрмен-чечен из седла выдернул, на землю опустил, сам на правое колено пал, правой рукой руку Эрмен-чечен крепко сжал.

— Отныне мы вовек неразлучны, — сказал.

— Всегда вместе будем, — молвила Эрмен-чечен и следом за Байбараком-богатырем из родного стойбища ускакала.

Веселой переступью идет под Эрмен-чечен неутомимый иноходец. Широко шагает пятнистый, как барс, конь, неся могучего Байбарака-богатыря.

А следом скачет разгневанный Сюмелу-пай — отец. Крепко, злобно хлещет он восьмихвостой плетью крылатого коня. Воронокрылый конь как буран летит, как вьюга спешит. Но прекрасную дочь свою Эрмен-чечен Сюмелу-пай догнать не успел.

2

Куда ворон не залетает — на краю голубой долины, куда сороке не долететь — на краю желтой долины, у подножья ледяной горы, в долине, закрытой от всех четырех ветров, раскинулось стойбище Байбарака-богатыря. Здесь, в высоком аиле, родился у прекрасной Эрмен-чечен сын Алып-Манаш.

Родившись, Алып-Манаш сразу на ноги встал, волосяной аркан в руки взял, бело-серого коня, узды не знавшего, заарканил, заседлал, в седло вскочил, тугой лук на плечо повесил и поскакал на охоту.

Первой стрелой белку достал, второй — росомаху уложил, третьей стрелой Алып-Манаш-дитя сразил могучего барса, хозяина гор.

Байбарак-отец снял с пояса широкий нож, наточил лезвие о скалу и надрезал шкуру. Шестеро силачей тут же подцепили и содрали ее так чисто, что даже сорока не нашла бы на коже клочка мяса.

Эрмен-чечен-мать своими белыми руками кожу размяла, размягчила, и сделалась барсова шкура блестящей и мягкой, как шелк, легкой, как облако.

Эту шкуру пятнистую, золотистую, мягкую, как шелк, Байбарак-богатырь на плечо положил, тестю в подарок принес, расстелил ее на земле у ног старика Сюмелу-пая.

— Этого зверя ваш внук Алып-Манаш добыл, эту шкуру пятнистую, золотистую, легкую, как облако, блестящую, как шелк, ваша дочь Эрмен-чечен своими белыми руками размяла.

Но Сюмелу-пай подарка принять не пожелал, простить Байрака-богатыря не захотел.

— Год назад ты мою дочь Эрмен-чечен украл, год от меня ты ее скрывал. За это на год пусть уснет непробудным сном твой сын Алып-Манаш. Пусть уснет, как встретит по сердцу девицу, пусть уснет, как придет ему пора жениться.

3

Алып-Манаш деда своего не видал, угроз его не слыхал, забот не зная, на радость родителям, рос, мужал.

В быстроте бега равных ему на Алтае не было. В борьбе он мог с великими силачами состязаться. В смелости Алып-Манаш сыну небесного царя Темир-Мизе-богатырю не уступал. Стопудовый лук Алып-Манаша только его друг Ак-кобен-богатырь мог поднять, но тетиву натянуть и ему не под силу.

Пируя с богатырями, силачами и героями, Алып-Манаш однажды песню услышал про могучего Ак-каана. Семьдесят народов Ак-каан поработил, семьдесят семь богатырей убил.

В белом аиле живет дочь Ак-каана, красавица Эрке-каракчи, ездящая на огненно-рыжем коне.

«Кто верхом мимо стойбища Ак-каана скачет, слезает с коня, чтобы Эрке-каракчи-разбойницу посмотреть. Кто пешком идет — колени преклоняет, взглянув на

красавицу Эрке-каракчи, — пели песельники, волосяные струны топшуура перебирая. Шестьдесят силачей на стойбище ездили свататься, семьдесят богатырей жениться на Эрке-каракчи хотели. Много женихов к ней стремилось, обратно ни один не вернулся. Бесчисленные следы на стойбище ведут, обратного следа ни единого нет. Из богатырских костей горы вокруг стойбища возвышаются, кровью реки полнятся...»

Слушая песню, Алып-Манаш берестяной поднос с едой отодвинул, есть не захотел. Золотую чочойку с питьем отодвинул, есть не захотел.

— Пока Ак-каана не одолею, пировать не буду. Если красавицу Эрке-каракчи не полоню, на мягком ложе спать не буду.

Байбарак-отец и Эрмен-чечен-мать на пирах не пировали, на игры молодецкие не глядели, песен протяжных не слушали. Они искали для Алып-Манаша добрую жену, чтобы верным другом ему была. Когда он будет год целый спать, недвижимо лежать, чтобы спящего не покинула.

4

Росла вместе с Алып-Манашем сестренка милая Эркекоо. Была у нее любимая подруга Чистая жемчужина — Кюмюжек-Ару, дочь Кыргыз-каана-непобедимого.

И сосватали родители Алып-Манашу эту девицу Чистую жемчужину. Однако Алып-Манаш костер с ней вместе разжечь не захотел, в аил к ней не вошел. Он коня седлает, снаряжается, в дальний путь собирается.

— Чем не хороша тебе Чистая жемчужина? — спрашивает Байбарак-богатырь-отец.

— Чем не угодила тебе Кюмюжек-Ару? — спрашивает Эрмен-чечен-мать.

Молча плачет сестра милая Эрке-коо, жалеет она Чистую жемчужину — Кюмюжек-Ару.

— Добрые родители, милая сестра, — сказал Алып-Манаш, — на дороге моей не стойте, за подол шубы меня не держите. Коню, привязанному к коновязи, прыти своей не показать. Богатырю в своем аиле удалью не прославиться. Медная стрела в колчане зеленой плесенью покрывается, меч, отдыхающий в ножнах, бурая ржавчина ест. Богатырь, у домашнего очага теплой аракой кровь свою греющий, силы лишается, славу теряет. Пока Ак-каана не одолею, в белый аил к жене не войду, если Эрке-каракчи не полоню, домой не вернусь.

Потом Алып-Манаш светлое лицо к Чистой жемчужине обратил и молвил:

— С тобой вместе мы дня не прожили, но считай, будто женаты. Старую тебя заботой не оставлю, плохо о тебе никогда не подумаю. Хочешь — жди меня, не захочешь — твоя воля. Укорять не стану, неволить тебя не смею.

Подошел Алып-Манаш к бело-серому коню, в седло вскочил, не оглянувшись, ускакал.

5

Поехал Алып-Манаш искать стойбище Ак-каана, поскакал в тот край, где живет красавица Эрке-каракчи.

Алып-Манаш днем не отдыхал, ночью не спал. Сколько рек бродом перешел — не сосчитать, сколько горных перевалов позади оставил — не упомнить.

Алып-Манаш летом в зной прохладной тени не искал, зимней стужей костра не разводил.

Кружась, как веретена, мелькали месяцы; годы, как змеи, ползли.

Алып-Манашу солнце летом плечи жгло, зимой снег падал на воротник.

По долинам мчась, по горам карабкаясь, через пропасти перескакивая, бело-серый конь вытягивался, как сыромятный ремень, сжимался, как тугая мышца.

Вот впереди закипела-зашумела бурная река. Как белое пламя, она размывала синий песок, лизала серые камни, огненными брызгами разбивалась на крутых порогах. От шума быстрой воды дрожали кедры в горах, содрогались березы в долинах. Ни вверху реки, ни внизу тихого брода не видно.

Алып-Манаш вверх и вниз скакал по берегу, пока не увидел берестяную лодку шириной в две сажени, длиной в девяносто саженей. Алып-Манаш спешился, перевернул лодку. Под лодкой спал белый, как лебедь, старик.

Алып-Манаш окликнул его:

— Дедушка, переправьте меня!

Старик глаза открыл, на Алып-Манаша взглянул:

— Э-э, балам-дитя мое, красивые глаза, умную голову, Чистую жемчужину ты дома оставил! Чего тебе не хватило? Что поехал искать?

Алып-Манаш старику поклонился, рукой земли коснулся:

— Медная стрела, в колчане оставленная, зеленой плесенью покрывается. Булатный меч, в ножнах отдыхающий, бурая ржавчина ест. Богатырь возле домашнего очага силы лишается, славу теряет.

Старик в ответ слов не нашел. Молча взял багор, столкнул лодку в воду.

Алып-Манаш, повода из рук не выпуская, прыгнул на корму.

Конь удила грызет, плыть не хочет, но крепко держит повод Алып-Манаш.

Когда на середину реки выехали, старик обернулся, и горючая слеза стариковская упала Алып-Манашу на ладонь.

— О чем плачете, дедушка?

— Мне тебя, балам-дитя, жаль. Скольких богатырей я на тот берег переправил, обратно ни один не пришел.

— С небесными силами, с подземными властителями готов я сразиться, лишь бы наказать Ак-каана-злодея, который семьдесят народов поработил, семьдесят семь богатырей убил. Буду со змеями, с драконами, с чудищами земными и подземными биться, пока не полоню разбойницу Эрке-каракчи.

Алып-Манаш вынул из колчана девятигранную стрелу. Солнце в гранях стрелы девять раз отразилось. От блеска стрелы старик глаза ладонью защитил.

— Жив я или мертв, по этой стреле, дедушка, вы узнаете.

Старик спрятал стрелу в свою суму.

Алып-Манаш из лодки на берег прыгнул, улыбнулся. Бело-серый конь из воды вышел, встряхнулся.

Алып-Манаш покрыл коня потником-кечимом, на кечим положил седло, затянул подпругу потуже, прыгнул в седло и закричал, как сто богатырей кричат.

Конь топнул — будто сто громов гремят.

Слеза, повисшая на реснице старика перевозчика, не успела на щеку упасть — Алып-Манаша уже не видно.

6

Бело-серый конь ретиво-бодро по долине бежал, черные озера заполняли след его копыт. Низкие холмы мягко копытами отбрасывал конь. Высоким горам на грудь наступая, неутомимо бежал. Он через овраги легко перепрыгивал, через пропасти смело скакал. Едва Алып-Манаш восход солнца увидит, конь уже к закату домчит его.

И вот темной ночью увидал Алып-Манаш огонь больших костров. Желтое пламя лизало снеговые вершины, искры взлетали к небу и там вспыхивали и гасли среди звезд.

Почуяв запас дыма, конь на четыре ноги встал, с места не идет.

— Эй-эй! — сердито крикнул Алып-Манаш.

— Алып-Манаш, вернись! — человечьим голосом сказал конь. — Много к стойбищу следов идет, обратного следа не вижу.

— Ты снаружи подстилка, внутри потроха! Умереть ли мне суждено, жив ли останусь, совета у тебя не спрошу.

Конь стоит, будто в землю вросли копыта.

В гневе Алып-Манаш был свиреп. Он поводом рот коня до ушей разорвал, он плетью круп коня до кости рассек.

Как орел взвился бело-серый конь. Он в гору, под гору, как весенний ветер, летел, по долине, как вода,

бежал. От слез бело-серый конь дороги не видел, от обиды мелкой дрожью дрожал.

7

Темной ночью услыхала красавица Эрке-каракчи топот копыт. Ему вторило эхо в горах, отзывался ему гром в небесах.

— Это бежит бело-серый, бело-серый, бело-серый конь! — загоготали дикие гуси.

С ложа своего Эрке-каракчи вскочила, меч свой она всю ночь о звезды калила, на ледниках студила, об луну точила. Утром Эрке-каракчи на огненно-рыжего коня села и помчалась навстречу Алып-Манашу. Белым пламенем сверкал в ее руке острый меч, ярче утреннего солнца долину и горы освещая. Красным заревом полыхала грива огненно-рыжего коня, будто огнем охваченный, сверкал длинный хвост.

Алып-Манаш взглянул на Эрке-каракчи. Она на него в ответ глянула, глаз не опустив, мечом заиграла.

К бело-серому коню близко-близко огненно-рыжий конь подскакал, яростно-грозно заржал, передние копыта подняв. Бело-серый конь тоже на дыбы встал.

Алып-Манаш обеими руками обхватил разбойницу Эрке-каракчи. Началась великая борьба. Сначала бились верхом на конях, потом спешились. Месяц в битве протек, как один день, год промчался, как один месяц.

Четыре раза Эрке-каракчи и Алып-Манаш весь наш мир обежали. По щиколотку уходили ноги в землю, когда на твердом камне боролись, в рыхлой почве по колено увязали. Ни один не упал, ни один не коснулся рукой земли. От топота их ног, от крика богатырского

колыхались долины; холмы скакали, как олени, горы прыгали, будто сарлыки. Озера из берегов выходили, реки бросались с камня на камень, разбивая скалы.

Но вот тронула Эрке-каракчи землю левой рукой, левым коленом земли коснулась. За правую руку Алып-Манаш ее взял, в золотые глаза ее посмотрел.

— Вместе костер зажжем! — сказал.

Чуть слышно отозвалась побежденная Эрке-каракчи, лучистые глаза свои ресницами прикрыв:

— В одном котле пищу варить будем, из одной чаши есть и пить станем.

— Будем вовек неразлучны, — в один голос сказали.

И тут проклятье деда сбылось.

Себя не помня, Алып-Манаш руку нежной Эрке-каракчи уронил, себя не помня, к коню подошел, расседлал его, седло на землю бросил, потник-кечим швырнул, сам на потник упав, голову на седло опустил и заснул непробудным сном.

Бело-серый конь обернулся белой звездой и поднялся на небо.

Эрке-каракчи в седло вскочила, коня огненно-рыжего хлестнула. На стойбище Эрке-каракчи вернулась, в кошемном аиле затворилась, любимую рабыню ударила, чашу с золотой каймой в костер кинула, свою одежду кожаную, шелками шитую, собольим мехом подбитую, разорвала, растопила.

8

Пастуха Ак-каана погнали бесчисленные табуны на горные пастбища. С высокой горы увидали пастухи две сопки, дотоле невиданные. Посреди сопок круглый

холм, от холма вихрь-буря идет, столетние деревья вверх корнями поднимает, гонит реки вспять.

Позабыли пастухи о бесчисленных табунах, обратно повернули. Вот прискакали на стойбище, в ноги к Ак-каану упали.

— Посреди долины, — говорят, — две сопки выросли, посреди сопок, — говорят, — круглый холм стоит. От холма, — говорят, — вихрь-буря идет, гонит реки вспять, деревья вверх корнями поднимает.

— Лжете вы, лентяи, бездельники! — И одним взмахом меча Ак-каан три головы отсек.

Даже семиголовый людоед Дельбеген над четвертым пастухом сжалился.

— Позвольте, — говорит, — великий Ак-каан, я туда поеду на своем могучем Туу-ээзи — синем быке. Посмотрим, правду ли пастухи говорят.

Поднятого меча Ак-каан не удержал, меч сам собою на шею четвертому пастуху упал.

Темно-желтый Дельбеген своего синего быка заседлал, в широкое седло сел, быка к долине погнал.

Когда через гору перевалили, синий бык Туу-ээзи заупрямился, грудь его мохнатой пеной покрылась. Он мотнул головой и, узды не слушая, повернул обратно к стойбищу.

Тут вдруг вихрь-ветер налетел, быка подхватил-завертел и поволок хвостом вперед, вместе со всадником, в темную пещеру.

У семиголового Дельбегена все четырнадцать глаз на лоб чуть не вылезли, уши чуть не лопнули. Опомниться Делбеген не успел, как его вместе с синим быком из пещеры выдуло, на вершину горы понесло.

Упав на гору, синий бык едва встал. Земли под собой не чуя, как слепой, опять вверх побежал. Лишь на самом высоком леднике передохнул бык.

Только на этой ледяной высоте очутившись, осмелился грозный, свирепый Дельбеген оглянуться, лишь с этой недоступной высоты отважился вниз посмотреть.

Там, внизу, покрыв белым потником-кечимом зеленую долину, крепко спал Алып-Манаш. Голова его между двух деревянных лук богатырского седла, будто круглый холм между двух сопок, покоилась. Вдохнет Алып-Манаш — деревья и горы, как бурей подхваченные, влекутся в его ноздри, выдохнет — деревья и горы, как вихрем выгнанные, из ноздрей вылетают. Алып-Манаш ровно дышал, и вместе с его дыханием мерно опускались и подымались воды рек и озер.

Богатыря, подобного Алып-Манашу, Дельбеген еще не видывал, о таком силаче-алыпе он не слыхивал.

Темно-жслтый Дельбеген чуть жив от страха в стойбище Ак-каана вернулся, у белого войлочного аила спешился, до земли могучему Ак-каану поклонился, на колени пал:

— Человек, сказать, — нет, не человек это; гора, сказать, — нет, не гора это. Чудовище страшное, ни на что не похожее, в долине спит.

9

Звонко-пронзительно свистнул Ак-каан. Созвал он дальних и ближних силачей-алыпов и богатырей-героев. Все бесчисленное войско, одетое в звенящие доспехи, верхом на могучих конях двинулось со стойбища в

долину. Будто спустившиеся на землю тучи, мчались кони, будто солнечные лучи, сверкали остроконечные пики. Впереди всех, свирепо крича, скакал на своем бело-чалом коне сам Ак-каан. Рядом с ним мчалась, положив поперек седла остро отточенный меч, красавица Эрке-каракчи.

С вершины черной горы хорошо виден Алып-Манаш. Он спит, раскинув руки, как дитя. Шуба его распахнулась, всем четырем ветрам открыта широкая грудь.

Дыхания его уже почти не слышно, жизни на лице его не видно.

Прославленные лучинки своих коней осадили, медноконечные стрелы на упругую тетиву луков они положили. Сощурились, хорошо прицелились, все вместе, как один, стрелы разом пустили. Меткие стрелы ударили Алып-Манаша под левый сосок, но будто о застывшую лаву стукнулись. Медные наконечники погнулись, крылатые концы стрел задымились.

Копьеносцы швырнули с разбегу тяжелые копья. Ударившись о грудь богатыря, бронзовые острия, как пчелы зазвенели, как стекло, рассыпались.

Эрке-каракчи близко-близко к Алып-Манашу подскакала, выхватила из кожаных ножен острый меч и с размаху ударила богатыря. От этого удара искры во все стороны рассыпались, как зарницы в небе запылали, как огненный дождь с неба на землю упали. От этого удара звон по всему Алтаю был слышен. А на теле Алып-Манаш даже розовой царапины нет.

Девять дней и девять ночей могучие воины секли мечами, кололи ножами спящего богатыря, но Алып-Манаш остался невредим.

Ак-каан приказал воинам спешиться, вырыть яму глубиной в девяносто сажен.

Воины выкопали яму и столкнули туда Алып-Манаша.

Девятью тяжелыми цепями сковали его белые руки. Девяносто девять цепей повесили ему на ноги.

Оружие богатыря хотел Ак-каан на свое стойбище увезти. Пику сдвинуть ни один воин не смог, меч поднять силача не нашлось.

10

Долго спал в глубокой яме Алып-Манаш. Девятью тяжелыми цепями скованы руки. Ноги от колен до лодыжек девяносто девятью цепями опутаны. Проснулся Алып-Манаш в положенный час, но встать он не смог.

Тяжесть цепей легла на сердце, слезы глаза обожгли. Алып-Манаш первый раз в жизни запел. В песне отца и мать вспомнил, помянул сестру свою Эркекоо, пожалел одинокую Кюмюжек-Ару. И коня своего бело-серого богатырь не забыл, хвалу ему спел.

На холмистом Алтае, на белом, на цветущем, на синем Алтае, на золотом, на просторном Алтае не осталось ни зверя, ни птицы. Толпясь у ямы, как у водопоя, звери и птицы слушали песню.

По небу плыли весенние тучи, летели над тучами серые гуси. Спеша к своим гнездовьям, гуси всю дорогу плакали об Алып-Манаше. Один гусь от стаи оторвался, покружил над ямой, сложил крылья и упал на грудь богатыря.

Алып-Манаш взглянул на гуся и вздохнул. От этого вздоха богатырского лопнуло девять цепей, освободились белые руки. Алып-Манаш палец до крови прокусил и на крыле гуся своей кровью начертал:

Гусь ты, славный мой гусь,
Верный ты мой друг!
Ты в воде не тони,
Ты по воздуху плыви.
На твоем крыле я пишу письмо
Отнеси его Байбараку-отцу.
Про печаль мою расскажи
Ты Эрмен-чечен — доброй матери.
Эрке-коо — сестре поклонись,
Передай привет Кюмюжек-Ару,
Жарче солнца привет
Передай ей — жемчужине.
Скажи всем друзьям,
Что Алып-Манаш
В черной яме лежит,
Он живой в земле похоронен.
Верный ты мой гусь,
Полети, поплыви,
Распростерши крыло,
Дай слова эти всем прочитать.

Серый гусь, распахнув крылья, полетел к стойбищу Байбарака-богатыря.

11

Еще ночь не ушла, но утро белое, весеннее уже края неба и земли высветлило. Зеленая утренняя звезда заглянула в дымоход, и милая Эрке-коо, сестра Алып-Манаша, проснулась, встала, взяла берестяное ведро и пошла к реке по воду.

Наклонилась, черпнула ведром и увидала в воде

отражение серого гуся. Глянула вверх, а серый гусь летит над ее головой.

Эрке-коо протянула руки, поймала гуся и принесла вместе с кожаным ведром в свой аил.

Гусь, покачиваясь на коротких плоских лапах, подошел к костру, поднял крыло, и богатырь Байбарак прочитал начертанное кровью письмо Алып-Манаша. Заплакал Байбарак-отец, запричитала Эрмен-чечен-мать, но как Алып-Манашу помочь — они не ведали, у кого совета спросить — не придумали.

Чистая жемчужина — Кюмюжек-Ару сказала:

— Был у Алып-Манаша товарищ неразлучный, друг верный — Ак-кобен-богатырь.

И послала Чистая жемчужина своего брата каана Чурекея за помощью к силачу Ак-кобену.

Едва каана Чурекея дослушав, Ак-кобен на саврасого коня вскочил и поскакал в стойбище Байбарака-богатыря. У белого аила он спешился, коня к коновязи привязал, сам через порог переступил, поздоровался, серого гуся погладил и прочел письмо. Лицо его два раза позеленело, два раза посинело, брови сошлись.

Байбарак-отец посадил богатыря на почетное место. Эрмен-чечен-мать угостила его лучшими яствами.

Своими руками замесила Эрмен-чечен ячменную лепешку для Алып-Манаша. Когда тесто месила, молока из груди своей нацедила.

— Молоко мое материнское, сыну дай ты силу исполинскую, — приговорила она, пока лепешка пеклась.

Эту лепешку, на молоке материнском замешанную, слезами посоленную, с наговором испеченную, Ак-кобен за пазуху сунул и поспешил к саврасому коню.

Ак-кобену коня Байбарак-богатырь сам подвел, стремя старик поддержать никому не доверил. Ак-кобен в седло вскочил, на весь Алтай закричал-завопил. Саврасый конь поскакал, полетел, копытами травы не касаясь, землю отбрасывая.

Сколько времени саврасый конь скакал, никто не знает. На который день к берегу бурной реки Ак-кобен прилетел — никому не ведомо.

Увидел богатырь берестяную лодку, громким криком белого, как лебедь, старика переводчика на ноги поднял. Переправился, старику спасибо не сказал. На саврасого опять вскочил и помчался, покрикивая, коня подхлестывая.

У края черной ямы Ак-кобен коня осадил, сверху вниз на Алып-Манаша посмотрел и, как барс, завыл:

— Э-эй! Ты-ы-ы! Письмо твое я с начала до конца и с конца до начала прочитал. Отцу с матерью в том письме ты поклон прислал, младшую сестру вспомнил, Кюмюжек-Ару не забыл. Лишь для меня не нашел приветного слова. От меня теперь помощи ждешь?!

Тут Ак-кобен спешился, обхватил руками большую гору и метнул ее вниз, на Алып-Манаша. Тяжелая гора богатыря придавила. Лесистая вершина на сто сажен над ямой возвышается.

Ак-кобен на эту вершину взобрался, на мягкую траву сел, к могучему кедру спиной прислонился, достал из-за пазухи лепешку, на материнском молоке замешенную, слезами посоленную, с наговором испеченную, и съел ее.

От этой лепешки Ак-кобен в десять раз сильней прежнего стал. Сюда ехал богатырем, а отсюда поскакал героем. Высоко подняв голову, победную песню

запел. Так, с громкой песней, примчался он к берегу бурной реки.

12

У берега сидел в берестяной лодке белый, как лебедь, старик. Он не ел, не спал, вестей об Алып-Манаше ждал.

Ак-кобен прыгнул в лодку, взял коня за повод, сам от берега оттолкнулся и, голоса не жалея, громко, зычно заплакал:

— Алып-Манаш, верный друг, я в живых тебя не застал. Бело-серый конь твой, разметав гриву, на земле лежит. Сам ты, Алып-Манаш-богатырь, непробудным сном спишь, уронив голову на рукав.

Седой, как лебедь, старик горьких слез не сдержал. Иссохшей рукой он достал из своей сумы девятигранную литую стрелу. Литая эта стрела потускнела, красная медь позеленела.

— Да, видать, худо пришлось тебе, Алып-Манаш-дитя, — вздохнул старик. — Однако острие у стрелы еще не затупилось, если стрелу песком потереть, она, как новая, засияет. Если Алып-Манашу помочь, он живой встанет.

Ак-кобен, громко Алып-Манаша оплакивая, шапкой слезы утирая, взял из темной стариковской руки позеленевшую стрелу в свою белую руку. Из белых рук он стрелу уронил, стрела в черной воде потонула.

— Стреле упавшей вновь не засиять, Алып-Манашу-богатырю живым не встать! — сказал Ак-кобен.

Выскочил из лодки, прыгнул в седло, запел-засвистал, к стойбищу богатыря Байбарака коня погнал.

Долго ли, коротко ли мчался, но вот увидал — столбы дыма, будто белые деревья, в небо упираются. Аилы близко друг к другу, как стога сена, поставлены, люди здесь мирно живут.

Ак-кобен кулаком глаза потер, громко заплакал. То на одну, то на другую сторону седла валится, кисточкой своей шапки землю метет.

Подъехал к аилу Байбарака, спешился, голову низко склонил, голосом тихим сказал:

— Алып-Манаша-друга я в живых не застал. Бело-серый конь его, разметав гриву, на земле лежит, сам Алып-Манаш-богатырь непробудным сном спит, уронив голову на рукав.

Байбарак-отец и Эрмен-чечен-мать свои слезы со слезами Ак-кобена смешали. Ласковая Эрке-коо-сестра одежду на себе разорвала, косы шелковые растрепала. Тихо плакала не жена, не вдова — Кюмюжек-Ару...

Алып-Манаш лежал в глубокой яме, запертый крепко-накрепко лесистой горой. Сколько раз солнце вставало, он не видал, какие созвездия ночами по небу ходили, он не знал. И когда вдруг звезда сорвалась с неба и, стукнувшись оземь, встала конем, Алып-Манаш не услышал.

Громко заржал бело-серый конь, топнул передней ногой, крепко задней лягнул — тяжелая гора пополам раскололась. Черная земля от звонкого ржания развеялась.

Алып-Манаш со дна ямы увидел дно неба.

— Доколе буду здесь в яме сидеть! — воскликнул Алып-Манаш.

Разъярясь, девять цепей рванул, рассвирепев, девяносто девять цепей разорвал.

Конь опустил в яму длинный, как Млечный Путь, хвост.

Алып-Манаш вскочил, ухватился за конский хвост, но конь вытащить богатыря из ямы не смог — хвост оборвался.

Бело-серый конь, как бык, замычал, как медведь, заревел. Сквозь леса, по горам, по камням, как олень, побежал. С разбегу ударил копытом по железному тополю. Высокое дерево задрожало, ветвями небо оцарапав, на землю пало. Бело-серый конь притащил дерево к яме и столкнул его.

Алып-Манаш обхватил могучими руками крепкий ствол тополя, из ямы вышел, бело-серого коня обнял, заплакал:

— Я тебе плетью круп до кости рассек, рот уздой разорвал, а ты спас меня, верный конь.

Шерсть коня, омытая слезами Алып-Манаша, как серебряная, засияла, хвост вырос краше прежнего, заструился, заискрился, будто звездами пронизанный.

Алып-Манаш, прощенья у коня попросив, стал еще краше. Он поднял свое оружие с земли, вскочил на коня и помчался к стойбищу Ак-каана.

Семиголовый Дельбеген в своем гнезде на высокой горе сидел. Увидал богатыря, увидал бело-серого коня, вскочил на Туу-Ээзи, синего быка, и в стойбище поспешил.

На целый день, на целую ночь опередив Алып-Манаша, явился Дельбеген к Ак-каану:

— Алып-Манаш цепи разорвал, из ямы вышел и скачет сюда верхом на бело-сером коне.

14

Ак-каан созвал ближние и дальние войска, сам на бело-чалом коне впереди всех двинулся. Рядом с отцом скакала на огненно-рыжем коне Эрке-каракчи. Кайчи-песельники позади нее на черных иноходцах ехали. Ни на минуту не умолкая, они ей хвалу пели:

Рука твоя, Эрке-каракчи, пусть не дрогнет,
Лук твой, Эрке-каракчи, пусть не колыхнется,
Стрела, тобой пущенная, пусть не ошибется,
Мечь твой, на звездах каленный, на ледниках
стуженный,
Об луну навостренный, пусть не притупится...

Услыхав эту песню, Алып-Манаш коня поторопил, навстречу несметному войску быстрее птицы полетел. Свистят копья, гудят пики, звенят стрелы. Алып-Манаш пикой кольнет — и воины падают, как деревья в буран, войско редеет. как срубленный лес. Алып-Манаш саблей взмахнет — и падает войско, как скошенная трава. Сраженья такого никто не видывал, о бое таком никто не слыхивал. Бело-серый конь опрокидывал конных, топтал пеших.

Сквозь бесчисленное войско Алып-Манаш пробивал себе путь к Ак-каану, чтобы сразиться с ним один на один.

Ак-каан стоял под тысячелетним тополем верхом на своем бело-чалом коне, обнажив саблю, что могла резать железо и камень.

Будто гора с горой богатыри сошлись, словно молния с молнией скрестились их сабли, разбились на

куски и выпали из рук. Свирепо закричав, громко-пронзительно свистнув, богатыри на конях близко-близко съехались, ударились друг о друга их пики. От этого удара звон всю землю потряс, горы рухнули, моря вышли из берегов.

Богатыри схватили друг друга за воротники, тут земля и небо покачнулись. Кони ушли в землю по колени, воротники от шуб оторвались.

Алып-Манаш левой рукой схватился за пояс Ак-каана и выдернул злодея из седла. Правой рукой он высоко поднял свой белый нож и, размахнувшись, рассек пополам тысячелетнее, твердое, как скала, дерево, сунул в эту щель Ак-каана, а дерево скрутил узлом, словно пояс.

— Вечно сиди здесь, свирепый Ак-каан, — сказал Алып-Манаш. — Семьдесят народов, что ты разорил, пусть идут теперь в свои края, пусть мирно живут.

Алып-Манаш скачет, вперед не глядит, назад не оглядывается. Он смотрит на гневную Эрке-каракчи. Брови ее изогнуты, как тугой лук, из глаз сыплются молнии. Меч в ее руке сверкает, играет, правых и виноватых разит.

Алып-Манаш взглянул на Эрке-каракчи, и меч выпал из ее руки. Алып-Манаш рядом с огненно-рыжим конем своего бело-серого пустил, на Эрке-каракчи еще раз посмотрел:

— Перед небом и землей всегда вместе быть клялись — клятву ты нарушила. Неразлучными быть обещались — обещанья ты не сдержала. Внезапным сном сраженного, меня ты не пощадила, цепями окованного, меня ты покинула.

Поднял плеть и ударил Эрке-каракчи.

Слова в ответ она не сказала, на удар ударом не ответила. Хлестнула огненно-рыжего коня и умчалась неведомо куда.

Алып-Манаш догнать ее не захотел, в полон взять не пожелал, к отважным воинам оборотясь, сказал:

— Я не с вами сражался, на вас не в обиде, дани-выкупа не потребую. Мести моей не страшитесь, догнать меня не надейтесь. Но если в бою доведется нам встретиться — пощады не ждите, милости не просите.

Алып-Манаш повернул поводом коня и поскакал к родному стойбищу.

Конь мотнул головой, побежал. Быстрее птицы летели, ветру их не догнать. Едва утренняя заря на челке коня заиграет, как вечерний свет луны, подобно изморози, уже мерцает на хвосте. Когда бело-серый конь по мягкой земле мчался, озера оставались там, куда ступали его копыта. Когда по камням скакал, искры взлетали из-под его копыт и, рассыпаясь по небу, смешивались со звездами. Передними ногами перебирая, задними приплясывая по краю бездны, бежал конь, через пропасти скакал. Чуткими ушами шевеля, будто ножницами, он на бегу облака разгонял-разрезал. Вот каков он был, бело-серый красавец конь.

Но как примчался к берегу бурной реки, обернулся конь тощим двухлетним жеребенком. Сам богатырь Алып-Манаш плешивым горбуном Тас-Таракаем обернулся. Кадык впереди подбородка торчит, горб выше головы, космы с затылка через плешь на лоб свесились.

Однако старик переводчик узнал под этими космами горячие глаза:

— Э-э, Тас-Таракай, богатырь Алып-Манаш не сын ли твой?

Усмехнулся плешивый горбун:

— Никогда еще в моем шалаше не смеялись, не плакали дети.

— Э-э, Тас-Таракай, богатырь Алып-Манаш не брат ли твой?

— Нет, братьев у меня не было. Переправьте меня, дедушка, на тот берег.

— Ладно, садись.

Тас-Таракай прыгнул в лодку, жеребенок следом поплыл.

— Э-э, Тас-Таракай, о богатыре Алып-Манаше неужто ты ничего не слыхал?

Отвечает старику Тас:

— Много песен о богатырях народ поет. Об Алып-Манаше спеть кайчи-певца не нашлось.

Белый, как лебедь, старик брови высоко поднял, потом вместе свел и сказал:

— Теперь о подвигах Алып-Манаша песен не поют, потом петь будут.

И вынул старик из своей сумы девятигранную литую стрелу. Она, как солнце, сияла, блеском своим глаза обжигая.

— Эту стрелу мне Алып-Манаш подарил. «Жив я или мертв — по этой стреле узнаете», — сказал. Эту стрелу богатырь Ак-кобен в реке утопил; долго искал я утонувшую стрелу. Три дня назад со дна реки поднял, бурой травой обросшую, позеленевшую. Но сегодня она у меня в руке вдруг, как новая, зазвенела, засияла. Смотри! — Старик потер стрелу своим рукавом.

Стрела была прямая и светлая, как солнечный луч.

Подошла лодка к берегу. Прыгнул Тас-Таракай на каменную россыпь и обернулся Алып-Манашем. Рядом с ним грызет удила бело-серый счастливец конь.

Увидав богатыря, старик переводчик упал на колени:

— Огонь моих глаз, свет моей груди, Алып-Манаш-дитя! Твой друг Ак-кобек сегодня свадьбу справляет. Он Чистую жемчужину в жены берет.

Глаза Алып-Манаша гневом налились. Снова обернулся он плешивым горбуном Тас-Таракаем. Конь опять худым жеребенком стал. Верхом на этом тощем жеребенке потрусил Тас-Таракай к стойбищу богатыря Байбарака.

15

На широкой поляне, где в зеленой траве золотом горят весенние цветы, услыхал позади себя Тас-Таракай топот копыт. Обернулся и увидел — это скачет на своем игреневом коне молодой красавец каан Чурекей, родной брат Чистой жемчужины.

— Куда спешишь, Тас? — крикнул каан Чурекей, поравнявшись с худым жеребенком.

— На великий пир в стойбище Байбарака-богатыря.

— Эйт! Тйох! — крикнул каан Чурекей. — Погиб мой шурин, славный Алып-Манаш. Теперь великого ничего больше не увидим.

Тас-Таракай голову опустил, слезы косматыми косицами утирает.

— О чем плачешь, Тас?

— Себя оплакиваю. Был бы я не таков, как есть, мог бы поглядеть на сестру твою Кюмюжек-Ару.

— Если моего коня догонишь, сестру мою увидишь, Тас-Таракай! Если вместе на пир приедем, на

одну кошму с тобой сядем, Тас-Таракай! Из одного котла мясо будем есть, из одной чаши араку пить, Тас-Таракай! Когда Кюмюжек-Ару из аила выйдет Аккобенова коня седлать, мы с тобой вместе. Тас-Таракай, поглядим на ее белое лицо, на ее черный чегедек, семью шелками расшитый. Этот чегедек надела она в день свадьбы с Алып-Манашем. Этот чегедек и теперь не сняла.

Широкой, легкой поступью бежит игреневый конь каана Чурекея, версты копытами меряя. Худой жеребенок тоже спешит-торопится, на ходу спотыкается. Горбатый Тас жеребенка прутиком подстегивает, ножками-коротышками по ребрам стучит, поторапливает.

Девятилетний игреневый конь каана Чурекея далеко вперед улетел! Крупной рысью он ровно-красиво неутомимо бежит. Однако тощий лохматый жеребенок-малыш, хромая да спотыкаясь, борзого коня обогнал, впереди на версту скачет. Каан Чурекей своего скакуна плетью огрел. Игреневый конь, словно беркут, взвился, побежал-полетел. Тас-Таракаева жеребенка сторонной обошел, обогнал, далеко позади себя оставил и все так же неутомимо впереди бежит.

Жеребенок кое-как, вприпрыжку, трусит-хромает, головой мотает, ушами перебирает, куцым хвостом оводов отгоняет. Тас-Таракай тонкий березовый прутик поднял, замахнулся, худой жеребенок встрепенулся, и вот он опять впереди девятилетнего игреневого коня бежит, копытцами постукивает.

Так, забавляясь, резвостью своих коней похваляясь, прибыли в одно время каан Чурекей и Тас-Таракай на стойбище Байбарака-богатыря.

На стойбище людей — как деревьев в тайге, как муравьев в муравейнике. В котлах лошади, быки и ба-

раны, дикие козлы и олени целыми тушами варятся. Кайчи на дудках-шоорах, на двухструнных топшуурах, на сладкозвучных комысах играют, густым голосом они громкие песни поют, губами тихо свистят — синицам и кукушкам, шмелям и кузнечикам подражая.

Женщины хороводы водят. Бегуны в быстроте бега соревнуются, борцы силой меряются, всадники конями похваляются. Юноши играми молодецкими гостей радуют. Волками и лошадьми нарядившись, удаль свою показывают. Волк норовит лошадь из табуна угнать, жеребец должен эту лошадь у волка отбить, обратно в табун невредимой пригнать.

Горловым суровым голосом кайчи петь не устают. Героев величая, об Алып-Манаше вспомнили: «Никто в беге, бывало, не обгонит его, никто в борьбе, бывало, не одолеет его. Ак-кобен-волк, бывало, у Алып-Манаша-богатыря никогда лошади угнать не мог...»

Эти песни слушая, Тас-Таракай еще ниже голову опустил. Он мяса жирного не ест, сала теплого не пьет, курута копченного не пробует, мягкой араки не отведывает.

Милая Кюмюжек-Ару в белом шестигранном аиле сидит. Волосы ее, как жемчуг поседевшие, сиянием серебристым юное лицо озаряет. Ее длинные волосы шесть женщин в шесть кос заплетают, красоту невесты песней красивой славят.

Тас-Таракай тихо дверь отворил и, стоя на пороге, протяжно-жалобно запел:

Жемчужные косы
В два ряда заплетаешь, Кюмюжек-Ару.
Молодого друга
Давно ль ты нашла, Кюмюжек-Ару?

Со слезами, чуть слышно, она ответила:

В два ряда косы
Не я заплетаю,
Друга милого
Не я покинула...

Ак-кобен услыхал эти песни, вошел в белый аил, закричал:

— Голову я твою, Тас-Таракай, отрежу, к ногам приставлю, ноги оторву, к голове положу! Уходи, пока цел.

Схватил Тас-Таракая за шиворот и перебросил через семь гор, за семь морей. Но поднятая рука Ак-кобена еще не опустилась, а Тас-Таракай уже опять здесь, снова он свою песнь густым голосом ведет:

Из казана с семью ушками
Ак-кобен будет есть.
На постели с шестью полостями
Ак-кобен будет почивать.
Из любимой чашки
Алып-Манашу чая не пить.
На белой постели
Алып-Манашу места нет.

Кюмюжек-Ару ответила:

Из золотого казана
Буду добрых людей кормить,
Белая постель с шестью полостями
Для Алып-Манаша постлана.

Оттолкнув женщин, Кюмюжек-Ару встала, выпрямилась. Ее волосы рассыпались, вниз потекли, как жемчужные струи, как светлая вода, лицо зазолело, как весенний куст маральника.

Тас-Таракай спрашивает:

Если бело-серый конь жив,
Что будет?
Если Алып-Манаш жив,
Что случится?

Кюмюжек-Ару, глаз не смея поднять, отвечает:

Бело-серому коню
Золотую шерсть приглажу.
Алып-Манаша милого
Обниму и поцелую...

Тас-Таракай рваную шубенку с плеч сбросил, плечи распрямил, и вот рядом с Чистой жемчужиной сам Алып-Манаш встал.

Ак-кобен посерел от злости, обернулся серым журавлем и улетел.

Алып-Манаш пустил ему вслед быструю стрелу. Стрела не убила журавля, только по темени его скользнула и след там свой навсегда оставила.

Алып-Манаш со всего Алтая людей на праздник созвал. Все враждующие племена Алтая помирил, всех в один большой народ собрал.

Вечно в песнях живи, светлый богатырь мой, память о твоих подвигах людей радует, надежду в слабые сердца вселяет, отвагу сильным дает.

САРТАКПАЙ

На Алтае, в устье реки Ини, жил богатырь Сартакпай. Коса у него до земли, брови — точно густой кустарник. Мускулы твердые, как нарост на березе, хоть чашки из них режь.

Когда он охотился, еще ни одной птице не довелось над его головой пролететь. Он стрелял без промаха.

Быстро бегущих оленей, осторожную кабаргу бил метко. На медведя, на барса он ходил один, крепко держа в руке свою трехпудовую пику с девятигранным наконечником.

Не пустовали его охотничьи мешки-арчимаки, к седлу всегда была приторочена свежая дичь.

Сын Сартакпая, Алучи-мерген, издалека услыхав мерный топот черного иноходца, выбегал встречать отца.

Жена сына, сноха Оймок, готовила старику восемнадцать разных блюд из дичи, девять разных напитков из молока.

Но не был счастлив, не был весел прославленный богатырь Сартакпай. Днем и ночью слышал он плач зажатых горами алтайских рек. Напрасно бросались с камня на камень бурные воды, не было им пути к морю. Горько стало Сартакпаю слушать их немолчный стон. И задумал старик пробить алтайским рекам дорогу к Ледовитому океану.

Позвал он своего сына:

— Ты, сынок, иди к Белухе-горе, поищи пути-дороги для Катуни-реки. Сам я отправляюсь на восток к озеру Юлу-кӧл.

Приехал Сартакпай к озеру, спешился, коня стреножил, в траву пустил, сам на левое колено пал, указательным пальцем правой руки тронул берег Юлу-кӧля-озера, и следом за его пальцем потекла из Юлу-кӧля река Чулушман. С весслой песней устремились к ней все попутные ручейки и речки, все звонкие ключи.

Но сквозь этот радостный шум услыхал Сартакпай плач воды в горах Кош-Агача. Он протянул левую руку и указательным пальцем левой руки провел по горам русло для реки Башкаус.

Засмеялась река, убегая с Кош-Агача, засмеялся вместе с водой и старик Сартакпай.

— Оказывается, левой рукой я тоже работать умею! Однако негоже такое дело левой рукой творить.

Он повернул реку Башкаус к холмам Кокбаша и тоже влил ее в реку Чулушман.

— Теперь ты, Чулушман, воду ручьев и горных рек в долину понесешь, — сказал Сартакпай и правой рукой повел воды Чулушмана вниз к Артыбашу.

Здесь Сартакпай остановился:

«Где же сын мой Адучи? Почему не идет мне навстречу?»

— Слетай, дружок черный дятел, к реке Катуни, посмотри, куда ведет ее Адучи-мерген.

Черный дятел полетел к горе Белухе, и увидел он, что река Катунь быстро-быстро бежит на запад. Недалеко от Усть-Коксы догнал дятел силача Адучи. Тот вел воду все дальше.

— Зачем на запад бежишь, Адучи-мерген? — крикнул дятел. — Отец твой уже половину дня ждет тебя на востоке, в Артыбаше.

— Э-э, поспешил я, маленько ошибся... — молвил Адучи и, нисколько не медля, повернул реку на северо-восток. — Через три дня я с отцом встречусь.

Дятел, не отдыхая, поспешил к старому богатырю:

— Прославленный Сартакпай, сын ваш сначала ошибся маленько, однако спохватился и теперь бежит за вами. Через три дня он будет здесь.

— Славный дятел, ты мою просьбу уважил, — сказал Сартакпай, — и за это я научу тебя корм добывать там, где ни одной птице его не добыть.

Дятел, склонив голову набок, внимательно слушал.

— Не ищи червей в земле, — сказал Сартакпай, — не лови мошек на лету. Не скачи за гусеницами по тонким веткам. Уцепись когтями за ствол, постучи клювом по коре и крикни: «Киук-киук! Караты-каана сын свадьбу справляет, киук! Наденьте желтую шелковую шубу, черную бобровую шапку, скорей-скорей! Караты-каана сын вас на свадьбу зовет!» И все жучки, мошки, букашки тотчас выбегут к тебе.

С тех пор дятел сидит на стволе, стучит клювом по коре и кормится так, как научил его старик Сартакпай.

Дожидаясь своего сына, Сартакпай три дня держал указательный палец в долине Артыбаша. За это время под палец много воды натекло. Длинное Телецкое озеро — это Сартакпаева пальца след.

Наконец-то Адучи-мерген прибежал. Катунь-реку за собой привел. Теперь Сартакпай-старик поднял палец, и полилась из Телецкого озера река Бий. Сартакпай

шел, прокладывая путь Бию, новой реке. Адучи быстро бежал, ведя Катунь. Ни на шаг от старика не отстал!

Вместе влились обе реки — Бий и Катунь — в широкую Обь. И понесла могучая Обь воды Алтая в далекий Ледовитый океан.

Адучи-мерген распрямил плечи, поднял голову. Он смотрел на бегущую воду гордый, счастливый.

— Сынок, — окликнул его Сартакпай, — быстро вел ты реку, но я хочу посмотреть, хорошо, удобна ли для людей твоя дорога.

И старик пошел от Оби по Катуни-реке. Адучи-мерген шагал позади отца, и колени его гнулись от страха: о людях он не думал, когда гнал воду. Вот отец перешагнул через реку Чемал, подошел к горе Согонду-туу. Лицо его потемнело, брови закрыли глаза.

— Ой, стыд, позор, Адучи-мерген-сынок! Зачем ты заставил реку повернуть здесь так круто? Люди тебе за это спасибо не скажут. Плохо сделал, сынок.

— Отец, я не мог расколоть Согонду-туу, даже борозду провести по ее хребтам не хватило сил.

Тут Сартакпай снял с плеча свой железный лук, натянул тугую тетиву, пустил литую медную трехгранную стрелу. Согонду-туу-гора надвое раскололась. Один кусок упал пониже реки Чемала, и на нем вырос сосновый бор Бешпек. Другой осколок высится над Катунью. И до сих пор хвалят люди богатыря за то, что дал он воде дорогу прямую, как след стрелы.

Дальше пошли отец и сын вверх по реке. Видит старик — свирепо, быстро бежит Катунь, рушит и рвет берег.

— Как будут люди перебираться с одного берега на другой? Ты опять не вспомнил о людях, сынок Адучи.

У самого устья реки Чобы богатырь опустился на серый камень, крепко задумался: «Как людям помочь?»

— Здесь, — сказал он, — как раз середина реки. Тут мы построим мост.

Покорно молчал Адучи. Он не смел перед отцом сидеть и стоял, усталый, качаясь из стороны в сторону, будто стебель камыша.

— Ступай домой, ты устал, сынок, — молвил старик Сартакпай.

— Неужто, отец, вы сами отдохнуть не изволите?

— Когда творишь великое дело, силы растут. Ступай! Но жене своей Оймок скажи, чтобы этой ночью она вам двоим одной постели не постилала бы. Пусть между ее ложем и твоим всю эту ночь костер горит.

Сартакпай принялся собирать в подол своей шубы большие камни и скалы. Всю темную ночь без отдыха работал старик.

Ветер гнул деревья. В небе дымились черные тучи, сверкали молнии, гремел гром.

— Э-э, — усмехнулся Сартакпай, — молния мне поможет!

Он поднял руку, схватил молнию и вставил ее в расщепленный ствол тополя. При свете пойманной молнии стал старик строить мост. Он вонзал один камень в другой, и камни покорно лепились один к другому. И когда осталось положить последний ряд, мост вдруг обрушился.

Сартакпай рявкнул, как медведь, и выбросил камни из подола шубы. Гремя, посыпались они и завалили берег от устья Чобы до устья реки Эдиган. Там они и лежат до сих пор.

От страшного грохота проснулся Адучи-мерген, открыла глаза уснувшая рядом с ним, на его ложе, молодая жена Оймок.

— Мы отца ослушались!

Испугавшись гнева Сартакпая, они обернулись серыми гусями и улетели к истокам реки Чуй. Сартакпай бросил им вслед стопудовый камень. Этот камень упал на Курайской степи и до сих пор там лежит.

Одинокий и печальный, сел Сартакпай на своего черного иноходца и вернулся к устью реки Ини. Его родной аил давно рассыпался, его бесчисленные стада разбрелись, и следы их травой поросли. Сартакпай расседлал коня, снял с его спины войлочный кечимпотник и бросил на тысячепудовый камень. Чтобы кечим скорее просох, старик повернул этот тысячепудовый камень на восток, а сам сел рядом на землю.

Так, обратив лицо к восходящему солнцу, почил вечным сном на своей родной земле прославленный богатырь.

Тут кончается наша песня про Сартакпая-строителя, про Сартакпая-хозяина молний, про Сартакпая-старика.

ПРО ЗАБЫВЧИВОГО СКАЗИТЕЛЯ, ПРО РАЗГНЕВАННОГО БОГАТЫРЯ И ОБ ЭТИХ СКАЗКАХ

Дело было осенью. Осенние ночи долгие, хорошо такой ночью сидеть в сухом аиле у жаркого костра и слушать песню-сказку. Однажды семь ночей пел сказку знаменитый на Алтае сказитель — кайчи Чийик Капраилов. Семь ночей сказывал он, струны топшуура перебирая, великую песнь о богатыре Алтай-куучине. Семь ночей подряд народ певца слушал. На восьмое утро сел кайчи на коня, к себе домой собрался.

Весь день, не отдыхая, шел верный конь. Поднявшись на горный перевал, тяжело задышал, ребра, как мехи, заходили. Чийик расседлал коня, расстелил на земле потник, седло под голову положил и лег. Семь ночей не спал певец, и тут, на перевале, сон сразу сморил его. Но едва смежил веки — земля закачалась.

Вскочил Чийик. Вершины деревьев к траве пригнулись, корни к небу поднялись. Тучи небесные на землю опускаются, пыль земная кверху подымается. На вершине горы вспыхивают зарницы, к подножию звезды сыплются. Это сам Алтай-куучин-богатырь, о котором семь ночей Чийик пел, теперь сюда едет на багрово-рыжем коне. Уши коня по дну неба две глубокие борозды ведут, хвост коня землю метет. Глаза конские горячей кровью налились, из широких ноздрей бледное пламя вылетает.

Большой, как Белуха-гора, стройно сидит на коне могучий богатырь. Между глаз богатыря тридцать овечьих отар ляжет, на плечи тридцать табунов могли бы встать. Черные глаза богатыря гневом горят, румяное лицо потемнело. Близко-близко подъехал Алтай-куучин к Чийику Капраилову:

— Это ты обо мне семь ночей пел?

Чийик языком шевельнуть не в силах, челюсти не отмыкаются. Молча на колени опустился.

— Я спрашиваю, — загремел богатырь, — ты про меня семь ночей сказку сказывал?

— Э-э... Да-а, говорил сказку... — голоса своего не слыша, отвечает Чийик.

— Лжива была твоя песнь, не всю правду ты людям сказал. Мою богатырну мать воспел, богатыря отца помянул, подвиги мои славил, врагов моих осмеял. Но, победы мои восхваляя, почему о постыдном бегстве моем ничего не сказал? Забыл ты, как шел на меня богатырь без лука, без копья, нагой богатырь — без шапки, без сапог? От этого пешего богатыря спасаясь, я коня насмерть загнал, бросив коня, пешком бежал. Ум потеряв, без памяти убегая, семьдесят семь гор я своими пятками в пыль истолок, море с семью десятью заливами в грязь затоптал. Моя темная печень от страха оборвалась, мое круглое сердце чуть не лопнуло. Как посмел ты правду от людей утаить?

Чийик голову опустил, из узких глаз слезы бегут.

Тут Алтай-куучин ременной плеткой взмахнул.

Кайчи-певец на землю лицом вниз упал. Что дальше было — не помнит, как домой добрался — не знает. Очнулся у своего аила. Повод коня держит, через порог переступить не смеет.

Жена сдни узнала его:

— Что с тобой?

— На меня Алтай-куучин-богатырь плеть поднял. Подвиги богатыря воспевая, песни о бегстве его не спел.

Больше кайчи ни слова не промолвил. Войти в аил он не захотел. Свой топшуур внуку подарил, коня отдал ему, а сам ушел в горы. В стойбище он не вернулся.

Вот с тех пор сказители песни о богатыре Алтай-куучине петь опасаются. Лишь четверо прославленных кайчи воспевать Алтай-куучина-богатыря дерзали. Это были мудрый Кыскаш, слепой Каркон, хромой горбун Кабак да Павла Васильевича Кучияка родной дедушка Шонкор Сокол.

От дедушки Сокола внук Кучияк эту великую песню перенял, но мне самой песню об Алтае куучине-богатыре послушать не довелось: Павел Васильевич Кучияк эту песню мне спеть не успел, он умер в 1943 году, в войну.

Теперь, как подумаю об Алтае, вспоминаю Кучияка. Как вспомню о Кучияке, будто паяну вижу алтайские пологие лесистые горы, слышу журчанье ручьев и ключей, шум бегущих между каменными россыпями быстрых горных алтайских рек.

И вновь возникает перед моим мысленным взором охотничий шалаш. Над шалашом будто дождь шумит — это хвоя темно-синего кедра шепчет сказки всем четырем ветрам, и будто сам Коголдей-дедушка у шалаша перед костром-дымокуром сидит. Губами песню он не спеша свистит, густым голосом сам своему посвисту вторит. Сначала он свой звучный топшуур похвалит, потом осторожно, издалека речь о подвигах богатырских поведет. Долго жалостливо бо-

гатырей упрашивает, снисхождения к своей слабой памяти просит...

И мы тоже, как наши учителя-сказители, прилежно, старательно старые сказки повторили, вспомнили, не торопясь рассказали. Чтобы плохого с нами не случилось, чтобы силачи-алыпы не гневались, мы ни одного слова из сказки не выбросили, ничего к песне не прибавили. Мы от дедов и прадедов эти сказки слышали, теперь внукам и правнукам рассказать хотим.

Из прямого дерева
Старательно вытесан
Топшуур мой,
Гулящей кожей обшит.
Из конского волоса
Натянуты говорящие струны.
Два звенящих куска дерева
Хорошо прилажены, прижаты.
Пой, топшуур мой!
Проворного коня волосы туго натянуты.
Звени, топшуур мой!
Со струнами тугими
Десять пальцев моих
Разговор повели.
Слабому голосу моему,
Верный топшуур, помоги!

Прославленные богатыри! На золотой земле своей мирно кочуйте. Ночью нам, сказителям, не снитесь, днем думою о себе сердце наше не тревожьте, ничего худого не делайте. В песнях и сказках вечно живите!

Анна Гарф

СЛОВАРЬ

Аил — конусообразное жилище, в котором прежде жили алтайцы. Основой аила служат длинные жерди, наклонно вбитые в землю. Между жердями укладывают широкие длинные полосы коры, содранной с лиственницы или березы. Богачи обтягивали жерди войлоком. Наверху аила оставалось отверстие — дымоход. Внутри аила на земле устроен очаг: над костром на треноге стоит котел, в котором варили мясо, кипятили чай с солью и с поджаренной ячменной мукой. Неподалеку от костра висела люлька. Дети постарше спали на земляном полу, а зимой — в ямках, вырытых около костра. Взрослые спали на деревянных нарах, покрытых шкурами.

Алмысы — по поверьям древних алтайцев, злые, хитрые и коварные духи. В старину алтайцы верили, будто алмысы живут в пещерах, в расщелинах скал и выходят оттуда, чтобы вредить людям.

Алып — великан. О великане-алыпе алтайские сказители говорят, что на переносице между глаз у него может пастись стадо овец с тридцатью баранами. На каждом плече великана гуляют табуны лошадей с тридцатью жеребцами. Когда алыпы дерутся, горы прыгают, как быки, моря выходят из берегов, скалы рассыпаются в песок.

Аарчы — особым образом приготовленный творог.

Арака — хмельной напиток, приготовленный из кислого молока.

Аркыт — кожаный мешок, в котором хранят квашеное молоко.

Арчимаки — переносные сумы-вьюки.

Бубен — ударный музыкальный инструмент алтайцев, вроде барабана, но обтянут кожей только с одной стороны, а с другой вделывается деревянная перекладина, за которую играющий держит бубен. Внутри обруча есть еще две металлические перекладины, на которые навешены пестрые лоскуты и железки. На коже выцарапаны изображения людей, птиц, зверей и чудищ. На деревянной перекладине обычно вырезывали голову с двумя медными глазами. Когда в бубен бьют деревянной колотушкой, он угрожающе гудит, железки звенят. Раньше бить в бубен на Алтае мог только кам, такой человек, который, как верили алтайцы, умел общаться с богами и духами.

Дзерен — джейран, степная антилопа, один из самых красивых обитателей степной полосы Алтая. Ноги у дзерена стройные, сильные. Крупный, плотный, он сложен изящно, словно создан для бега. Дзерен легко преодолевает большие расстояния, и догнать его нелегко. Шея у дзерена не длинная, голова самцов украшена рогами, которые изогнуты в виде лиры.

Зайсан — глава племени, князь.

Каан — слово монгольского происхождения: каган (хан) — глава народа, власть каана (кагана) часто божественного происхождения: «Выше него только небо».

Кабарга — не очень крупное стройное животное из семейства оленей. Голова небольшая, ноги тонкие, легкие. Задние ноги длиннее передних, поэтому кажется, будто кабарга ходит сгорбившись, словно чего-то стыдясь. Длинные закругленные уши очень подвижны, хвост так короток, что его из-под шерсти не видно. У самцов торчат вниз изо рта тонкие острые клыки. На темно-коричневой спине и боках кабарги белые пятна. Живет кабарга в горной тайге и на каменных осыпях. Днем прячется, а пастись выходит в сумерки и ночами.

Кандык — таежное растение. Корни кандыка употребляют в пищу. Месяц апрель называется месяцем кандыка — «Кандык ай».

Кам — колдун, шаман. В старину алтайцы верили, что кам может общаться с богами и духами, может угадать прошлое, предсказать будущее, наслать беду, вылечить или умертвить человека.

Комыс — музыкальный инструмент величиной не больше ладони. Он похож на подкову с вытянутыми сближенными узкими концами. Посредине к этой подкове прикрепляется загнутый металлический язычок. Он длиннее концов подковки. Музыкант берет этот язычок в рот, а концы подковки упирает в передние зубы верхней и нижней челюсти. Указательным пальцем он ударяет по язычку комыса, и получается звук, какой мы слышим, когда летит шмель. Музыкант движением губ и языка может менять звучание комыса, и получается разнообразная, красивая мелодия. Комыс известен многим народам Сибири.

Кербастан — одно из божеств шаманского пантеона.

Курут — прессованный копченый сыр из отжатого творога-арчи.

Марал — алтайский благородный олень. Ноги у него высокие, стройные, голова немного вытянута, глаза большие, уши длинные, широкие, заостренные на концах, хвост короткий. Рога марала похожи на ветви дерева. Особенно хороши маралы в начале лета, когда молодые рога — панты — уже разветвились, но еще не окостенели. В пантах марала содержится драгоценное целебное вещество, из него делают лекарство — пантокрин.

Сарана или саранка — дикорастущая лилия. Как суррогат продуктов питания известна на большом пространстве Сибири и Поволжья.

Сарлык — як, длинношерстный горный бык. Тело сарлыка мощное, шея короткая, голова большая. Рога, широкие у основания, сужаются кверху, они круто загнутые и остроконечные. Шерсть у сарлыка густая, длинная, на боках свисает до земли. Сарлыки поэтому могут отлыхать на льду или на снегу — шерсть как подстилка. Живут сарлыки высоко в горах, отлично переносят холод и разреженный воздух.

Семеро братьев — созвездие Большой Медведицы. На Руси это созвездие называлось Ковшом. И правда, семь ярких звезд похожи на ковш с длинной ручкой. У

многих народов Азии и на Алтае созвездие называется Семеро братьев.

Сыгырган — сеноставка, или пищуха. Мелкий зверек. Хвост у сеноставки так короток, что его из-под шерсти и не видно. Живет сеноставка в полупустынях и степях, населяет гористые места. Рост неглубокие норы. Каждая нора имеет до двадцати ходов-выходов. С середины лета пищуха заготавливает зимние припасы: срезает зубами листья и стебли, подсушивает, а затем собирает в стожки. В поисках корма сеноставки бегают днем и ночью, при этом они громко пищат, словно переговариваются со своими соседями.

Ташаур — кожаный сосуд, в котором обычно хранили араку.

Тепши — деревянное блюдо.

Три марала — или, вернее, Три маралухи — созвездие, известное нам под названием Орион.

Толкан — мука из поджаренных зерен ячменя.

Топшуур — щипковый музыкальный инструмент, выдолбленный из дерева. Сверху он закрыт либо кожей, либо деревянной декой. У топшуура всего две струны, свитые из конского волоса. Под пальцами играющего струны звучат приглушенно, однако очень выразительно. Топшуур — неизменный спутник сказителя, поющего героические народные сказания. Горловой низкий бас певца-сказителя и глуховатый звон

топшуура создают неповторимое звучание, в котором слышится и полет майского жука, и топот богатырского коня, и стон ветра, и раскаты грома в горах.

Теке — козел сибирский, горный.

Ульгень — одно из божеств шаманского пантеона — олицетворяет силы добра, ниспосылает дождь и град; создатель неба, светил и огня.

Улькер — звездное скопление, расположенное в созвездии Тельца. На Руси эти звезды исстари назывались Стожары. Древние греки называли их Плеяды.

Чегедек — особого покроя, расшитая шелками семи цветов, безрукавка. Одежда замужней женщины, которую она должна была носить, пока жив ее муж.

Чегень — особым образом сквашенное кипяченое молоко.

Чочойка — чашка, похожая на пиалу, режется обычно из твердого нароста на березе или из комля, то есть из нижней, прилегающей к корню, части дерева.

Шоор — тростниковая свирель, дудочка, один из древнейших музыкальных инструментов.

Яйик — домашний божок из шаманского пантеона.

Якши ба! — здравствуйте!

Якши болсын! — будьте здоровы, прощайте!

СОДЕРЖАНИЕ

С. Суразаков, Г. Кондаков. В СОЗВУЧИИ С ТРАДИЦИЕЙ 3
П. Кучияк. МОЙ АЛТАЙ 7
А. Гарф. ПРО ДЕДА И БАБУШКУ, ПРО СИНЮЮ КОРОВУ И КАБАРГУ-ЛАКОМКУ 15

КАК СИНИЦА БЕРКУТА ОБМАНУЛА 20
КРАСНАЯ ЛИСА И СЫГЫРГАН-СЕНОСТАВЕЦ 24
ЛЯГУШКА И МУРАВЬИ 28
СТО УМОВ 30
МЕДВЕЖИЙ ПОДАРОК 33
СЕРДИТЫЙ ВОРОБУШЕК 38
СТРАШНЫЙ ГОСТЬ 39
СТАРАТЕЛЬНЫЙ КОРОСТЕЛЬ 43
КАК МЫШЬ ПОБЕДИЛА ВЕРБЛЮДА 46
УСЛУЖЛИВЫЙ ШМЕЛЬ 49
КАК БЕРКУТ ЦАПЛЮ НАКАЗАЛ 50
ЖУРАВЛЬ И КОРОСТЕЛЬ 52
ДВЕ ОДЕЖКИ 53
МЕДВЕДЬ-СУДЬЯ 54
ЖАДНЫЙ ГЛУХАРЬ 58
ДОБРАЯ КЕДРОВКА 61
ПОЧЕМУ У ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ НОГИ ОТСОХЛИ 64
ЖЕНА ПАВЛИНА 65
КОНЬ, КОРОВА И БЕЛЫЙ ЛОСЬ 68
ОБИДА МАРАЛА 71
ДЕТИ ЗВЕРЯ МААНЫ 75
ЛЕСНАЯ СТАРУХА 81
СЧАСТЛИВЫЙ 85
КЫПТУ-ТОРКО 93
ЛИСА-СВАХА 96
САРЫ-КААН 105
УШКО-КУЛАКЧА 107
КАК СОЛДАТАС МЕДВЕДЯ ПОБЛАГОДАРИЛ 115
ВЕРНАЯ СЕСТРА 120
ЗОЛОТАЯ ЧОЧОЙКА 122
ЕР-БЁКЁ-КААН И СИРОТА ЧИЧКАН 127
АК-ЧЕЧЕК — БЕЛЫЙ ЦВЕТОК 139

ТОРКО-ЧАЧАК — ШЕЛКОВАЯ КИСТОЧКА 147
ЧИМИРИК 155
СТРАШНАЯ СКАЗКА 161
КАК МАЛЬЧИКИ ПОБЕДИЛИ АЛМЫСОВ 165
КОНЬ, КОРОВА И ЗВЕЗДЫ 171
ОХОТНИК КАДЖИГЕЙ 173
КАК БОГАТЫРЬ САРТАКПАЙ ЛЮДОЕДА НА ЛУНУ ЗАШВЫРНУЛ 176
ТАС-БЕРЮК 180
СЕМЕРО БРАТЬЕВ 191
ТАНЗАГАН — ОТЕЦ АЛТАЙЦЕВ 201
АЛТЫН-ЧАЧ — ЗОЛОТЫЕ КОСЫ 209
АЛЫП-МАНАШ И КЮМЮЖЕК-АРУ 232
САРТАКПАЙ 261
А. Гарф. ПРО ЗАБЫВЧИВОГО СКАЗИТЕЛЯ, ПРО РАЗГНЕВАННОГО БОГАТЫРЯ И ОБ ЭТИХ СКАЗКАХ .. 268

СЛОВАРЬ 272

Алтайские сказки

Редактор Торбоков Т. Т.
Художественный редактор Ортонулова Е. И.
Художник Э. Гороховский
Компьютерная вёрстка Тепуков Э. А.

Подписано в печать 06. 07. 09. Формат 70x100 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Alt Times. Усл. п. л. 8,71. Тираж 1000 экз.

ГУК Литературно-издательский Дом «Алтын-Туу»
649000 г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 38.

102-00